





A. Kuznetsov

Александр  
**КУПРИН**



**ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ**  
РАССКАЗОВ  
**В ОДНОМ ТОМЕ**



Издательство  
АЛЬФА-КНИГА  
Москва  
2017

УДК 821.161.1  
ББК 84.(2Рос-Рус)6-5  
К92

Серия основана  
в 2007 году

**Куприн А. И.**

К92 Полное собрание рассказов в одном томе./ — М.: «Издательство АЛЬФА-КНИГА», 2017. — 1277 с.: ил. — (Полное собрание в одном томе).

ISBN 978-5-9922-0623-4

В одном томе собраны все рассказы замечательного русского писателя Александра Ивановича Куприна (1870—1938). Вместе с ранее изданным в нашем издательстве полным собранием романов и повестей в одном томе, эта книга составляет его полное собрание сочинений.

УДК 821.161.1  
ББК 84.(2Рос-Рус)6-5

ISBN 978-5-9922-0623-4

© Художественное оформление,  
«Издательство АЛЬФА-КНИГА», 2010

## ПОСЛЕДНИЙ ДЕБЮТ

*Посвящ. Н. О. С—ой*

Я, раненный насмерть, играл,  
Гладьаторов бой представляя...  
*Гейне*

Антракт между третьим и четвертым действиями кончался. Капельмейстер Иван Иванович фон Геккендольф только что добрался до самого интересного места увертюры, изображавшей очень наглядно плач иудеев в пленении вавилонском.

Иван Иванович ужасно любил такие пьесы, где все время шла отчаяннейшая fuga, — где жалобное рыдание флейт смешивалось с патетическими восклицаниями кларнета, где гудел самым безжалостным образом тромбон и все покрывалось глухим рокотанием турецкого барабана, где музыканты, приведенные в ужас этим хаосом звуков и готовые положить инструменты, кидали на капельмейстера взоры, полные самого мрачного, безнадежного отчаяния...

Тогда Иван Иванович производил чудеса: он бросался из стороны в сторону, делал самые трудные телодвижения, удивляя публику своею гибкостью, и, наконец, красный от усталости и волнения, обводил зрителей торжествующим взором, когда инструменты сливались в общем хоре.

На этот раз публика не могла отдать должного удивления музыкальным подвигам Ивана Иваныча, потому что все были заняты разговорами о драме, которая шла в первый раз. Называли вполголоса имя автора и указывали на литературную ложу, где сидел молодой человек с растрепанной шевелюрой.

На сцене шла суматоха. Алексей Трофимович Петунья, исполнявший одновременно должность и декоратора, и машиниста, и сценариста, был в страшном волнении.

— Опускайте, опускайте кулисы-то! — кричал он, бегая без сюртука по сцене. — Да тише, осторожнее, говорят вам! Послушай, ты, баранья голова, как тебя звать?

— А Кириллом, — отвечал, усмехаясь, кудрявый рослый парень.

— Так ты, голубчик Кирилл, сбегай сейчас вниз, в кассу. Спроси у Андрея Филипыча мой саквояж, понимаешь? Ну, мешочек такой, маленький, кругленький... Да ты пошевеливайся, бегом! Ну, что вы там заснули? Где же река-то? Николай Антонович, вы реку позабыли, давайте реку!

— Пушай висит, — отвечал сверху грубый голос, — таперя кулисы мешают, тады легче будет.

— А вы, Николай Антонович, вал починили? Прошлый раз Анемподистов четырнадцать зубцов сломал. Александр Петрович, я просто не знаю, что мне делать, облака истерзаны в клочки, река просвечивает, кулисы старые, гнилые...

Последние слова относились к антрепренеру и директору труппы, быстро проходившему через сцену с хлыстом в руке. Это был высокий, статный мужчина лет тридцати пяти. Лицо его, обрамленное густою гривой черных волос, живописно падавших на плечи, носило печать какой-то

гордой, самоуверенной силы. Особенно хороши были его большие, серые, холодные глаза, тяжелый взгляд которых не могли выдержать многие, даже очень решительные люди.

— Обратите, пожалуйста, внимание, — вопил Алексей Трофимович, жестикулируя самым отчаянным образом. — Андрюшка опять запил, старые кулисы никуда не годятся, могут упасть, разбить кому-нибудь голову...

— Потом, потом, — прервал рассеянно Александр Петрович. — Где Гольская?

— Оне в уборной-с, если не ошибаюсь, — отвечал Алексей Трофимович и опять побежал раздавать приказания.

Поднявшись наверх, Александр Петрович остановился перед маленькой крашеной дверью и постучал.

— Кто там? Войдите! — раздался за дверью приятный женский голос.

Лидия Николаевна Гольская была красавица.

Трагик Анемподистов, игравший на сцене под псевдонимом Фальери и поразивший купчих в самое сердце краткой, но ядовитой эпитаграммой:

Фигура  
Без тюрнюра! —

всякий раз, когда заходила речь о Лидии Николаевне, закатывал глаза под лоб так, что несколько минут в орбитах вращались одни громадные белки, и восклицал хрипящим басом: «Богиня! Классическая богиня!» Действительно, тонкие правильные черты лица, классический профиль и будто мраморная, прозрачно-матовая бледность лица Гольской позволяли дать ей это название.

При входе антрепренера Лидия Николаевна сделала порывистое движение вперед, но опять опустилась в кресло, и только густой румянец залил ее бледные щеки.

— Чем обязана чести видеть вас у себя? — спросила она через силу, и в тоне ее голоса зазвучали худо скрываемые горечь и презрение.

Александр Петрович потрянул гривой черных волос. Этот прямой вопрос ему сильно не понравился, потому что он хотел приступить к объяснению исподволь.

— Я просил бы вас, Лидия Николаевна, оставить, во-первых, этот тон, который мне неприятен, а затем хотел вам доложить, что меня положительно возмущают ваши вздохи и безнадежные взгляды. На каком основании это все делается? А сегодня вы, как будто нарочно, из рук вон плохо играете. Хорошо еще, что вас любит публика, а то ведь провалили бы пьесу, окончательно провалили бы... Чисто женская логика! Разозлится на одного человека, а делает неприятности двадцати пяти. Здесь, кроме меня, страдает автор, страдают ваши товарищи; я уверен, три четверти зрителей не слышали вашего умирающего голоса.

И он остановился против нее, раздраженный, взволнованный, ожидающий ответа.

— Александр Петрович, представьте себе, — заговорила наконец Лидия Николаевна прерывающимся голосом, — представьте себе женщину, которая полюбила горячо и сильно, полюбила в первый раз в жизни.

Александр Петрович сделал нетерпеливое движение.

— Подождите немного! Представьте себе дальше, что она отдала все, что только может отдать женщина, а он надругался над этой горячей, слепою любовью, бросил эту женщину на произвол судьбы. И представьте себе, Александр Петрович, что этой женщине приходится развлекать ты-

сячную толпу именно в то время, когда она, быть может, близка к самоубийству или к безумию!

— Ну вот! Я так и знал, — прервал нетерпеливо антрепренер. — И к чему здесь эта напущенная иносказательность, когда вы могли бы прямо потребовать у меня объяснения? Когда я вам говорил, что я вас люблю, — я говорил от чистого сердца, точно так же, как и вы... по всей вероятности. Если бы вы меня разлюбили, я не стал бы ныть и *требовать* любви! Если бы мне было тяжело, я повесился бы на первой балке моего театра; если бы меня мучила зависть и злоба против моего соперника, я не стал бы сдерживаться, а сделал бы то, что мне хотелось бы сделать: разбил бы, например, кому-нибудь голову вот этим самым графином...

— Александр Петрович, — возразила Гольская, — вы забываете, кажется, что я женщина, что...

— Ах, не все ли равно! Я, признаюсь, не понимаю, совершенно не понимаю sentimentalных пошляков, которые уверяют, что раз сошлись мужчина и женщина, между ними возникает какое-то взаимное нравственное обязательство. Стыдитесь, Лидия Николаевна! Так простительно думать девицам, которые, заслышав в словах мужчины намек на любовь, тащат его к брачному сожителству! Я вам понравился, вы мне понравились, — это, по-вашему, естественно? А разве не естественно и то, что вы мне перестали нравиться?

— Александр Петрович! А ваши клятвы, обещания? Вспомните, как вы призывали все, что еще для вас осталось святого, в свидетели вашей любви!

— Что ж из этого? Или вы думаете, я сделан из дерева? Страсть, которая одинаково палила и меня и вас, заставила бы всякого на моем месте клясться точно так же, как клялся я! Ну, хорошо, положим, я должен был сдержать эти клятвы; да неужели вам будет приятно, если я начну снова уверять вас в своей любви, после того как сказал вам, и очень ясно, что вы мне перестали нравиться? А ведь вы должны со мной согласиться, что я не могу по произволу вызывать в себе нежные чувства!

— Александр Петрович, вы хотя бы вспомнили, что я должна сделаться матерью, — прошептала, отворачиваясь, Лидия Николаевна...

Она так была хороша в этом замешательстве, что у антрепренера мелькнула на мгновение мысль: а ведь я могу еще ее уверить, — скажу, что хотел испытать. Но это было только на мгновение; он отогнал соблазнительную мысль и отвечал суровым тоном:

— Ну что же-с? Обеспечить законным образом существование ребенка? Этого вам хочется? С удовольствием...

Он не успел закончить фразы. Оскорбленная женщина встала с кресла и, задыхаясь от гнева, произнесла почти шепотом:

— Вон!

Это «вон!» было сильнее громкого крика. Человек, никогда, ни при каких обстоятельствах не терявший, покорно вышел, понуриив голову.

Лидия Николаевна долго смотрела на затворившуюся дверь и почти без чувств опустилась в кресло. Тяжелые мысли, как кошмар, пронеслись и путались в ее голове, а вместе с ними создавалось и зрело какое-то ужасное решение.

— Ваш выход, Лидия Николаевна, — раздался через некоторое время сиплый тенор Вальцова, первого комика и не последнего шулера на все руки, как называл его язвительный Анемнодистов, — поскорее, пожалуйста.

Она сумела победить волнение, недаром она была превосходной артисткой, и сухо, но твердо отвечала:

— Иду!.. Скажите, что иду.

На сцене было душно. Шел последний акт, в котором молодая девушка, обманутая возлюбленным (эту роль исполнял антрепренер) и осыпанная незаслуженными упреками, принимает яд и умирает, унося в могилу проклятия тому, кого она так сильно любила. Гольская стояла в ожидании своего выхода, прислонившись к кулисе, бледная, с шибко бьющимся сердцем. Кто-то взял и пожал ее руку. Она услышала над ухом участливый голос режиссера:

— Вы бледны, как смерть, Лидия Николаевна, не хотите ли воды?..

Она молча, отрицательно покачала головой.

«Начинается, начинается, — со страхом думала Лидия Николаевна, — спрошу в последний раз, и он должен ответить, должен под чужими словами понять мои мучения... Ах, как стучит сердце... А этот противный Анемподистов кричит и кривляется!»

Она дождалась наконец момента, когда Анемподистов, изгибаясь в судорожных движениях, долженствовавших изображать гнев, удалился за кулисы, призывая замогильным басом все громы небесные на чью-то несчастную голову, дождалась резкого шепота режиссера: «Вам, Лидия Николаевна», — дождалась и вышла.

Она вышла, прекрасная и величественная в своей скорби, и уж один вид ее заставил вздрогнуть и забиться сотни сердец.

Она ничего не видела, кроме мощной фигуры, неподвижно стоявшей посреди сцены, и сама не знала, какое чувство будила в ней эта фигура: прежнюю ли беззаветную любовь или глубокую ненависть и презрение...

«Что он скажет? — пронеслось в уме. — Неужели не тронется это холодное сердце? Скажи, что ты меня любишь, обними меня по-прежнему, я все отдала тебе, — я тебя любила без конца, без оглядки... Но разве это возможно, разве осталась для меня какая-нибудь надежда?.. Вот он что-то говорит... Нет! Это те же холодные, жестокие слова, та же убийственная, рассчитанная насмешка...»

Она рыдала, ломая руки, она умоляла о любви, о пощаде. Она призывала его на суд Божий и человеческий и снова безумно, отчаянно рыдала...

Неужели он не поймет ее, не откликнется на этот вопль отчаяния?

И он один из тысячи не понял ее, он не разглядел за актрисой *женщину*; холодный и гордый, он покинул ее, бросив ей в лицо ядовитый упрек.

Она осталась одна.

Всем становилось жутко, каждый чувствовал, как по спине у него пробегала холодная волна.

Суфлер в изумлении захлопнул книгу, — в ней не было ни одного слова, похожего на эти, полные мрачной скорби слова.

Скрипач, начавший было тянуть сурдинку, остановился и застыл на месте с раскрытыми от ужаса глазами.

А она каким-то надорванным голосом рассказывала историю своей несчастной погибшей любви, — роптала на небо и просила у него смерти, молилась за человека, разбившего ее жизнь, и призывала на его голову проклятия. В зале царил гробовая тишина, — каждое слово было слышно с ужасной отчетливостью.

Вдруг Гольская остановилась и медленно подошла к рампе. Она уже не рыдала, не ломала в отчаянии рук; ясное спокойствие разлилось по ее лицу. В руках у нее сверкал и искрился граненый флакончик с темной жидкостью.



«Ах, какой отвратительный запах... Страшно... Надо сделать усилие... Горько... Жжет в груди...»

Она обвела зрителей большими, изумленными глазами... побледнела, зашаталась и со страшным, раздрающим душу криком упала на пол. Восторг и какое-то растерянное недоумение изображались на бледных лицах зрителей. При гробовом молчании медленно опускался занавес, но — мгновение, и театр задрожал от бури аплодисментов.

— Гольская! Гольская! — раздавалось отовсюду, раек неистово шумел и топал ногами, слышались истерические рыдания. Угол занавеса дрогнул, кто-то нерешительно выглянул со сцены и скрылся.

— Гольская! Гольская! браво! — раздавались неумолкающие крики; занавес опять колыхнулся, на сцену посыпались венки и букеты.

Но что это? У рампы показался человек с бледным, испуганным лицом. Он медленно обвел залу помутившимися от слез глазами и едва слышно произнес дрожащим голосом:

— Господа, Гольской не стало...

1889

## ПСИХЕЯ

*23-го ноября.* Мне каждый мог бы задать очень простой вопрос: для чего я опять принялся за дневник, который начал и бросил пять лет тому назад? И в самом деле, нет ничего смешнее мысли писать дневники и автобиографии. Во-первых, смешно уже то, что у всех у них одинаковое начало: первым долгом сочинитель всеми святыми божится, что пишет не для публики, а исключительно для своего личного удовольствия. Для того, чтобы я, мол, уже будучи маститым старцем, убеленным сединами и окруженным толпой розовых малюток, мог опять пережить и перечувствовать то, что чувствовал некогда цветущим юношей, и чтобы одинокая слеза воспоминания... или как это обыкновенно пишут в этих случаях? И начинает гарцевать и рисоваться, да еще по дороге к этим почтенным сединам он тридцать раз перечитывает свои воспоминания, никому, кроме него, не интересные, и перечитывает непременно какому-нибудь застенчивому и воздушному провинциальному созданию, которое будет трепетать от наплыва неизведанных ощущений и потихоньку до слез зевать в платок. Как это, ей-богу, гадко, что самые умные люди готовы смаковать свои личные мелко-интимные ощущеньица и находить в них особенный вкус и толк!

Что касается меня, то дневник этот мне чрезвычайно важен, и читать я его никому уже, конечно, не буду.

Сегодня доктор сказал мне, что при том образе жизни, который я веду последние три года, то есть при постоянных голодовках, бессонницах и непосильной, почти лошадиной работе, у меня может произойти переутомление нервной системы. Как этот модный доктор ни миндальничал за мои кровные пять рублей (он даже советовал мне в Крым ехать для развлечения, а мне не на что калош себе купить!), однако я очень хорошо понял, что мне грозит сумасшествие. Тем более что все мои почтенные предки были страстными алкоголиками и безумцами. В эту тетрадь я буду записывать все свои мыслишки до тех пор, пока не замечу уже слишком явных несообразностей. А тогда... Тогда либо в больницу, либо, если хватит воли, пулю в лоб.

*26-го ноября.* Чья это несправедливость? Я безусловно обладаю сильным и оригинальным талантом; перед собой-то мне уж рисоваться неза-

чем. В этом убеждении меня укрепляет, конечно, не золотая медаль, присужденная мне академическим советом, с которым я имею основание расходиться во взглядах на искусство, и не отзывы газетных критиков. Я уже не мальчик и умею оценить все это по достоинству, потому что «людская честь бессмысленна, как сон». Но я чувствую в себе присутствие мощного, напряженного творчества, взгляд мой быстро и точно улавливает мельчайшие детали предметов; наконец, мне никогда еще не приходилось насиловать своего воображения, чем так страдают художники в погоне за темами. Исполинские мысли, одна другой смелее и оригинальнее, так переполняют мою голову, что мне иногда становится за нее страшно. Но, что всего важнее, я во время процесса творчества, точно в религиозном экстазе, ошутительно познаю в себе сладкое присутствие моего неведомого бога. Голова моя пылает, по спине бегают холодные волны, волосы мерзнут и шевелятся на голове, дух мой ликует. А насмешливая судьба, точно нарочно, поставила меня в грустную невозможность воплотить до конца хоть один из этих дорогих мучительных образов. Погоня за куском засушенного хлеба несовместима со свободным творчеством! Приходится с опасностью для жизни и рассудка лавировать между мечтами и славой и перспективой голодной смерти. Голод — самая плохая пища для вдохновения. Но ведь не могу же я с моим неудержимым полетом фантазии, с тем внутренним кипением, которое меня изнуряет, не могу же я сделаться писарем или сапожником!!

*27-го ноября.* Сегодня как раз я окончил двенадцатого Пушкина. Я так наловчился их лепить, что могу работать с закрытыми глазами, и все они похожи один на другого, как близнецы. Пушкиных теперь охотно разбирают, по случаю какого-то пятидесятилетия, но хозяин магазина, куда я поставляю статуэтки, недоволен моей работой. «У вас, — говорит он сурово, — нет совсем разнообразия, нам нужны разные серии. У публики пестрые вкусы».

Меня иногда схватывает тошнота при мысли, что приходится разминаться на эту черную поденную работу. Я с ужасом вижу, как после недели работы над иным надгробным бюстом в профилях моих античных борцов начинают появляться тяжелые, геморроидальные черты, напоминающие лицо начальника департамента или купца первой гильдии. Но что же делать, если десять — двадцать рублей позволяют мне в продолжение целого месяца быть хозяином моего вдохновения?

*28-го ноября.* Почему-то принято всеми, что пьяный человек близок к идиотскому состоянию. Поразительно неверное заключение! Я должен, между прочим, сознаться, что пить водку вошло для меня в привычку именно на этой проклятой квартире, которую хозяйка из экономии и благодаря моей неаккуратности почти совсем не топит. Сначала я ограничивался двумя или тремя рюмками, чтобы согреться, но потом это количество перестало меня удовлетворять. Теперь я пишу почти пьяный. Мысль работает страшно сильно и притом с удивительной точностью: постигает такие тонкие подробности своих ощущений, которые трезвый ум непременно выпустит из виду.

Только вот язык и ноги не повинуются, и глаза плохо слушают: именно все предметы теряют резкие очертания и как будто засыпаны песком. Но это ничего не значит: известно, что многие великие мастера создавали свои бессмертные произведения в том самом состоянии, в котором я теперь нахожусь. Я хотел сегодня работать: у меня есть в виду одна важная вещь, но пролежал на том собачьем ложе, которое хозяйка зовет кушеткой, и мечтал о славе.

*29-го ноября.* Я проснулся ровно в полдень со страшною головою болью. Странный сон снился мне этой ночью. Я видел себя стоящим где-то на окраине города. По всей вероятности, была осень. Ветер гудел в телеграфных столбах; мелкий, но необыкновенно частый и холодный дождь застилал все предметы тускло-серым покровом. Начинало смеркаться, и сердце мое сжималось ожиданием несчастья...

Вдруг сзади меня послышался топот нескольких десятков лошадиных ног. Я обернулся назад и увидел странное зрелище: десять или двенадцать всадников, одетых с ног до головы в черные одежды, мчались попарно со страшною быстротой; на их громадных лошадях были надеты черные попоны с круглыми отверстиями для глаз. Всадники неслись быстро, не оборачиваясь ни назад, ни в стороны.

Каждый из них держал в руке смоляной факел, который горел красным, сильно коптящим пламенем. Я понял, что кого-то хоронят, и действительно, из-за угла тотчас же показался катафалк, который три пары траурных лошадей везли так скоро, что не отставали от всадников. Черный гроб весь был завален яркими пунцовыми розами. Я побежал за этой страшною процессией и вскоре очутился вместе с ней на кладбище. Это было чрезвычайно печальное место: обнаженные деревья скрипели и качались, роняя на землю холодную воду; пахло сырой землею и гниющими на ней желтыми листьями.

Всадники сняли гроб и начали опускать его в яму, но верхняя крышка не была закрыта, и я увидел в нем мраморную статую, изображающую девушку необыкновенной, божественной красоты. Она покоилась на ложе из яркой зеленой травы и вся сплошь была одета красными розами и камелиями. Не знаю сам, каким образом, но я сразу узнал ее — это была спящая Психея!

Я кинулся к людям, опускавшим гроб, и кричал и плакал, уверяя, что лежащая в гробу — жива; они захохотали и грубо оттолкнули меня. Но я опять пробился к гробу, обхватил руками прекрасное холодное тело и очутился вместе с ним в могиле. Сверху посыпалась земля... все больше и больше...

Наконец мне нечем стало дышать, я хотел крикнуть, — но мой голос звучал шепотом; я сделал отчаянное движение и проснулся.

*30-го ноября.* Сегодня опять день пропал даром. Мои «Борцы» мне вдруг ни с того ни с сего опротивели; не могу я видеть этих здоровых, грубых мускулов! Для чего же, спрашивается, в таком случае я их с любовью вынашивал целые месяцы, для чего ходил на морозовскую фабрику, где за двугривенный заставлял бороться фабричных парней? Но зато весь день я думал о той дивной статуе, с которой вместе лежал в могиле. Где же я раньше видел это прекрасное, спокойное лицо, это тело, нежное, как у девочки, с едва обозначившимися формами груди, гибкое и грациозное, в то же время наивное во всей своей наготе? И почему же это непременно Психея, а не Дафна или не Флора? Меня интересует психология сна, и я много читал по этому предмету. Я очень хорошо знаю, что во сне нельзя увидеть ничего такого, чего когда бы то ни было не видал в действительности. Стало быть, и я мою Психею должен был видеть.

Но где же? Я перебираю в уме всех классиков и положительно не могу припомнить. Странно знакомое лицо, но описать его нет никакой возможности: что-то прекрасное в высшей степени и в то же время до нельзя простое! Когда я хочу вызвать его в памяти — оно не является, но стоит мне хоть на секунду задуматься о чем-нибудь другом, оно вдруг так и всплывает перед глазами.

*2-го декабря.* Я едва имею время, чтобы вымыть руки, перепачканные глиною, и набросать несколько строк в эту дурацкую тетрадь. Вот уже третий день, как я, не отрываясь, леплю мою Психею. Нервы мои ожили, работа идет легко и быстро, и каждый вечер, ложась в постель, я ощущаю состояние полного равновесия ума и сердца, — состояние, близкое к блаженству.

Некоторые ваятели изображают Психею совершенно физически развитой женщиной: непостижимое заблуждение! Психея — почти девочка, она мала ростом и должна производить впечатление еще невыровнявшегося, но прелестного подростка, который едва начинает сам смутно и стыдливо познавать свое превращение из ребенка в девушку. Но, кроме этого, я сделал еще более крупное открытие: никакое тело, кроме девственного, не имеет права быть изваянным или высеченным из какого бы то ни было материала, потому что ваяние есть самое чистое, самое возвышенное и непременно самое целомудренное из всех искусств. Поэтому скульптор должен работать, не имея перед глазами не только живой природы, но даже и манекена, а в особенности все губит живая натура. Ибо если к воплощаемой в мраморе мечте примешается тяжелая и грязная действительность, то место мечты заступает порнография. Не даром же в нашем многовековом искусстве употребляются лишь самые простые инструменты: руки и двести деревянные палочки. Эту тетрадь читать, кроме меня, никто не будет, и потому я буду говорить до конца: и Фидий, и Канова, и Торвальдсен, несмотря на всю мощь гения, не могли отрешиться от грубых будничных чувств в своей личной жизни. Только тогда скульптор и в состоянии сотворить великое, если он сам чист и целомудрен.

Я изображаю Психею спящей. Говорят, что фигуры лежа проигрывают, но меня это не останавливает.

*4-го декабря.* Боже мой, сколько мучений, сколько адского труда, и ничего, ничего! Не могу никак вспомнить ту Психею, которую я видел во сне. С утра до вечера я работаю до одури, до истощения, и ничего! Передо мной не спящая Психея, а пикантный сюжетец в сладостной истоме.

Нет! Я, должно быть, заработался; нельзя, в самом деле, не снимать шесть дней подряд рабочего халата. Попробую немного отдохнуть.

*6-го декабря.* Какой же это, к черту, отдых? Двое суток не встаю я с дивана, и меня душит самый безобразный кошмар. В уме моем самым непостижимым образом перемешались события всех дней. Порой я никак не могу решить, происходил ли какой-нибудь известный факт сегодня утром, или вчера, или, наконец, целую неделю тому назад, или я читал о нем в книге, или видел во сне.

Вообще я замечал уже не раз, что память у меня очень быстро тупеет, в особенности с того времени, как я бросил все знакомства и почти перестал разговаривать вслух. Она, точно у старика, свежа еще по отношению к случаям моего детства, но чем ближе к настоящему времени, тем более она становится сбивчивой и туманной. Большую часть дня я сплю и вижу тысячи снов, и в этих снах я также вижу себя лежащим на диване, повторяющим тысячу раз одно и то же, обыкновенно самое глупое слово, и не знающим, куда деваться от тоски. Эти пошлые сны так тесно переплетаются с пошлой действительностью, что я временами долго и мучительно раздумываю: где кончается одно и где начинается другое? Иногда я как будто бы отрезвляюсь и с отчаянием хочу выбраться из этого чертовского полубодророка. Хочу встряхнуться, рассеяться хоть немного, но через несколько времени сонное колесо опять начинает меня заворачивать.

Ночь для меня ужасна! Я не сплю вплоть до рассвета и порой со страхом, порой с удивлением созерцаю громаднейшую вереницу картин, статуй, животных, знакомых и незнакомых лиц, которые появляются перед моими глазами без участия моей воли и уходят против моего желания. Некоторые лица просто уродливы. Они кривляются, делают страшные глаза и высовывают языки, и когда одно из них уже близко подойдет к моей физиономии, мне становится мерзко, точно от прикосновения палача. Чтобы избавиться от этих галлюцинаций, я выпиваю несколько рюмок водки, и мне легче. Не пойти ли к доктору?

*8-го декабря.* Случайно погляделся нынче в зеркало. Я не видел себя недели три и просто испугался, когда на меня глянуло длинное, зеленое, страшно исхудалое лицо с обтянутыми, точно у мертвеца, скулами, со впалыми, окруженными черным глазами. Я просто ненавижу свою наружность. Говорят, что человек — венец творения. Поглядели бы они на тот венец, который в настоящее время представляет моя персона!

*10-го декабря.* Сумею ли я передать все, что произошло сегодня ночью? До сих пор еще не могу прийти в себя от той массы ощущений, которые мне пришлось пережить. Словами не выразить и сотой доли, но все-таки постараюсь рассказать все по порядку. Среди ночи я проснулся, точно кто-то назвал меня по имени. Это со мной часто случается, если мне в лицо слишком сильно светит луна. Вся моя комната была залита потоком серебряно-зеленого света и казалась совсем незнакомой, стены как будто выросли и раздались в стороны, все предметы высматривали странно и подозрительно. Я каким-то внутренним чутьем понял, что сейчас, именно в эту минуту должно произойти событие громадной важности. Мой взгляд упал на Психею. Она лежала на полу; ее тело, обложенное мокрыми тряпками и проникнутое нежным матовым сиянием, казалось прозрачным. Машинально схватил я стек и подошел к ней и, точно повинувшись чужому влиянию, пообозначил несколько линий... И вдруг я вскрикнул и задрожал от восторга: передо мной лежала та самая Психея, которую я видел во сне и дивный образ которой так тщетно старался припомнить! Разве есть в человеческом языке средства, чтобы изобразить ту бурную радость, которая поднялась в моей душе!! Теперь я понял, отчего ее лицо казалось мне таким простым и знакомым. Она есть тот прототип божественной красоты и гармонии, стремление к которому вложено в душу каждого человека со дня его рождения и который человечество окрестило избитым названием «идеала». Нам, художникам, судьба дает средства постигнуть его, но до этой великой ночи все мы мучительно и бесплодно гонялись только за его призраком. А я, я, бледный, некрасивый, изможденный ваятель, я достиг того, что казалось до сих пор невозможным, я схватил это невозможное и заключил его в крепкие, осязаемые формы. О! Я прекрасно понимаю, что здесь мой талант ни при чем и что моей рукой водил случай. Но именно вследствие этого-то никто и не должен, кроме меня, видеть Психею, потому что если когда-нибудь и дойдет человеческое искусство до такой совершеннейшей степени, то разве через десятки столетий. Человек раньше узнает и подчинит себе все те силы природы, которые теперь его самого поработают, и когда в конце концов доберется до последнего, до этой вечной истины и вечной красоты, то он уже перестанет быть человеком. А теперь только одному Богу известно, какие последствия может вызвать всенародное появление моей Психеи. Она должна столетия пролежать на земле, подобно творениям древних греков, пока не настанет ее время и сама судьба не извлечет ее, как светильник, который должен светить на горе.

*Число не проставлено.* Я не писал несколько дней по причине нестерпимой головной боли. Минутами мне кажется, будто кто-то ломает мой че-

реп на части, и каждое движение причиняет чудовищную боль. Кстати: на последние деньги я послал сегодня за гипсом.

*Числа нет.* Едва только в комнате стало темнеть, я тщательно закрыл занавески, зажег лампу и долго-долго стоял, безмолвно созерцая неземную красоту моего создания. Ведь — что замечательно: все, чем только с незапамятных времен ни увлекался человек до безумия: слава, чувственность, патриотизм, долг, честь, все наслаждения мира, — все это может приесться и наскучить, но это восхищение, которое я теперь испытываю, не надоест никогда! Я задаю себе вопрос: что было бы, если б она была живой женщиной? Мне кажется, ее кто-нибудь должен был бы убить, точно так же, как я через несколько дней закопаю ее в землю. Но до этого времени она только моя, и красота ее принадлежит одному мне.

Моя! Ах, если бы это слово не было так оскорблено тысячами человеческих вождлений! Удивительно странная моя судьба. Мне теперь тридцать пять лет, и я совершенно изможден жизнью. Но даже во время моей первой молодости для меня не существовало обаяния женской ласки. Может быть, вследствие особенной болезненности организма я в ней никогда и не нуждался. Когда женщины избегали всякой встречи со мной, всегда отличавшимся выдающимся безобразием, то это не только не оскорбляло моего самолюбия, а скорее радовало. Я никогда не знал женщины, не знал ни поцелуев, ни пожатий рук, ни влюбленных взглядов. И вот, как будто бы удовлетворяя чувство справедливости, судьба послала мне самое чистое, невероятно высокое счастье, которому, конечно, ничего подобного не испытывают все оскорбившиеся нечистой любовью к женщине. Но это еще не все: я знаю, я предчувствую, что для меня здесь скрываются еще большие наслаждения, но до времени одеты тайной! Ах! Теперь я закончил формовку в гипсе, и она лежит передо мною ослепительно-белая.

*15-го декабря.* Позабыл в дневнике проставлять числа; впрочем, до того ли мне было. Сегодня хозяйка грустным голосом объявила мне: так как у нас сегодня 15-е декабря, то из этого следует, что я ровно три месяца не платил за квартиру. Бедная женщина, кажется, жалеет меня и отчасти немножко побаивается. Впрочем, что же тут мудреного: не даром же в языке простонародья названия «артист» и «художник» сделались синонимами или сумасшедшего, или жулика.

Я пишу, и меня беспокоит весьма странное обстоятельство: я забываю некоторые буквы, и припомнить их стоит мне большого труда. Отчего это? Но это не важно! Мне пришла в голову одна очень богатая мысль. Если словница разрешает каждому барону иметь свою фантазию, то кто же может запретить раз во всю жизнь побаловаться ею свободному художнику? Я придумал вот что... Не помню, писал ли я в дневнике или нет о том сне, когда я «ее» увидел в первый раз в гробу? Кажется, что писал! Я хочу целиком восстановить в действительности это первое впечатление, то есть положить ее в хороший сосновый гроб, обитый темным бархатом и устланный зеленью. Только где достать денег?

*16-го декабря.* Сегодня ко мне зашел Сливинский, мой коллега по академии. Это очень странный человек. На первый взгляд он производит впечатление помешанного: волосы у него постоянно взъерошены, взгляд то блуждает без цели, то вдруг неподвижно и пристально останавливается на лице собеседника, которого, однако же, в это время Сливинский не видит и не слышит, занятый своими мыслями. Иногда он внезапно прерывает ваши слова каким-нибудь вопросом, который не имеет ничего общего с происходившим разговором, а является результатом его собственных размышлений. Он ужасно рассеян, страстно любит женщин, чем часто бывает

мне противен, и всюду ищет приключений. В жизни он совершенный ребенок, и, если в его присутствии разговор заходит о житейской прозе, Сливинский молча грызет ногти. Его конек — психология вообще и психология женского сердца в особенности. Я люблю изредка с ним разговаривать, потому что мне иногда приходят в голову такие удивительные мысли, которые всякому, кроме Сливинского, покажутся сумасшедшими.

Но он меня понимает с полуслова и даже знает наперед, что я скажу, — это у него какой-то необыкновенный дар. Временами же, когда нам особенно часто приходится видаться, мы так глубоко залезаем друг другу в самые сокровенные уголки души и выкапываем оттуда такую дрянь, что становимся злейшими врагами. Я услышал его голос еще на лестнице и хотел было послать сказать, что меня нет дома, но было уже поздно: я едва успел стащить с кровати простыню и покрыть Психею. Ни один человек, покуда я жив, не увидит ее!

— Что у тебя за вид такой? — спросил Сливинский, не успев еще поздороваться и разглядывая самым бесцеремонным образом мою фигуру.

— То есть как это какой вид? Рога у меня, что ли, на лбу выросли? — спросил я нарочно грубо, чтобы отвлечь его от этого щекотливого направления.

— Нет, не рога. Рога — это бы еще куда ни шло, а вот лицо у тебя как выжатый лимон стало, а под глазами синяки. — Я молчал. — А знаешь, брат, что? — вдруг быстро и волнуясь спросил Сливинский, — тебе не приходит в голову, что ты скоро должен умереть?

— Перестань, пожалуйста.

— Ты не веришь? Но я в твоём лице ясно вижу черты особенной духовной красоты. Понимаешь? Я часто наблюдал, когда лежал в клинике: у нервных людей за несколько недель до смерти видно, как дух, освобождаясь, разрушает свою темницу. Впрочем, бросим об этом. Чем ты теперь занимаешься? Работашь?

Ага! Мне приходится хитрить! Впрочем, я раньше знал, что так будет. И я отвечал так равнодушно, что даже сам себе удивился: ни один талантливый актер не овладел бы тоном так естественно:

— Вот лежу на диване, понемножку думаю о бессмертии, с хозяйкой по вечерам беседую; вообще провожу время занимательно и не без пользы.

Сливинский уперся в мое лицо своим тяжелым взглядом.

— Все это ты врешь, братец, — заключил он внезапно, — у тебя теперь внутреннее кипение идет. Ну, да ладно, на откровенность я не напрашиваюсь. Я к тебе вот зачем пришел: представь себе, спиритизм, если с ним поближе познакомиться, вовсе, оказывается, не такое шарлатанство, как о нем протрубили!..

И он со свойственным ему пылом и красноречием начал излагать свою невероятно смелую, но в то же время не лишённую остроумия теорию медиумизма.

Воспользовавшись его минутной остановкой, я спросил:

— А ты что же делал за это время? Что ты мне о себе ничего не расскажешь?

— Я палец о палец не ударил, — отвечал Сливинский, необыкновенно быстро оставив своих стучащих духов. — И знаешь почему? Во-первых, потому, что у меня, оказывается, призвание вовсе не к скульптуре, а к женщинам; любовь к женскому телу, должно быть, и заставила меня заниматься нашим искусством. А во-вторых, и это я уже говорю совершенно серьезно, наше с тобой искусство — страшно бедное искусство: оно холодно, как мрамор, с которым ему приходится иметь дело, и так же чисто. Может быть, я и

ошибаюсь, но, по-моему, скульптор, которому предстоит создать что-нибудь бессмертное, должен быть таким отшельником и психопатом, как ты...

Удивительная странность: этот человек всегда высказывает то, о чем я думаю, но не решаюсь выразить словами, недаром же я его называю своею совестью. Интересно только, какими различными путями приходим мы к одним и тем же выводам.

— Знаешь ли, — продолжал между тем Сливинский, и я сразу, по нежным тонам, зазвучавшим в его голосе, узнал, что он заговорит о своем любимом предмете, — из меня, пожалуй, мог бы выйти какой-нибудь прок раньше, но теперь я так опустился нравственно, что погиб для искусства. Меня не удовлетворяет эта строгая чистота линий, этот безжизненный гипс. Живописцем я еще мог бы, пожалуй, сделаться, но потому, что у живописца в распоряжении краски, цвета, оттенки. Живопись чувственнее. Но я не хочу приписываться ни к какому цеху. Молодость дается человеку один только раз и уж, конечно, не для того, чтобы погубить ее, погрузившись, как это сделал ты, с ногами и руками в одно искусство. А смешивать два эти ремесла есть тьма охотников — я не из их числа. Я не знаю, что с собой самим делать, но зато наслаждаюсь мудро всеми дарами, которые доставляет человеку благая природа и его изощренный ум, причем на первом плане, конечно, ставлю женщин и женщин.

— И ты думаешь, тебе это «ремесло» не надоест?

— Никогда! Видишь ли, голубчик, я принадлежу к числу тех избранников, которые развили в себе такую тонкую и чуткую восприимчивость, что наслаждаются больше деталями, аксессуарами, так сказать, любви, чем самой любовью в грубом смысле. А так как эти аксессуары так же бесконечно разнообразны, как разнообразны характеры человеческие, то, следовательно, для меня будет всегда существовать прелесть новизны. Эх! Жаль, что ты выродок какой-то и не сможешь понять меня. Знаешь ли ты, например, сколько тайной неуловимой прелести заключает в себе постепенное сближение с женщиной: эти робкие намеки в то время, когда глаза сказали все, эти ссоры и подавляемые вспышки ревности, это первоначальное замешательство... Да ты, впрочем, ничего не понимаешь.

— Отлично понимаю, что это только гастрономический разврат! — перебил я с неудовольствием.

Сливинский поглядел на меня с удивлением. Он как будто не считал меня возможным на такое возражение.

— Может быть, ты и прав, — протянул он задумчиво, но тотчас же снова весь оживился. — Да! Но сколько в этом разврате борьбы, сколько раз приходится напрягать все способности ума, всю силу воли! Послушай! Ты знаешь, до чего может дойти воля человека? Думал ты об том когда-нибудь?

На этот раз я заметил, что Сливинский с интересом ожидает моего ответа.

— Я не ручаюсь, вполне ли я понял твой вопрос, — отвечал я, — но если ты, так же как и я, под понятием о воле подразумеваешь всякое хотение жизни, то ведь тебе должно быть известно, что я всегда ставил человеку в заслугу возможно большее отрицание этой самой воли.

— Ах, оставь ты в покое прах своего Шопенгауэра! — досадливо воскликнул Сливинский. — Я тебя спрашиваю про волю в житейском смысле, то есть в смысле силы самых прозаических желаний. По-моему, эту силу желания каждый человек, даже и мы с тобой, можем довести до таких гигантских размеров, что для нас в мире ничего не будет невозможного!

Оказывается, по мнению Сливинского, волю можно развить путем постоянной упорной гимнастики, состоящей в том, что ежеминутно делать



все противно своему желанию. Если мне есть в данную минуту хочется — я должен терпеть до крайности, хочется лежать — должен ходить, люблю спать на мягком — должен приучить себя спать на камнях и т. д. Затем, когда человек совершенно подчинит себе таким порядком свою волю, то все окружающие его, не только люди, но даже и животные, невольно и незаметно начнут подчиняться силе его желаний. Тогда для человека нет ничего невозможного, кроме препятствий, представляемых временем.

— Понимаешь ли, — горячился Сливинский, — что, настойчиво и неутомимо преследуя одну идею, я могу не только папой римским или китайским императором сделаться, но даже величайшим гением или ученым. Слышал ли ты о том, как один негр, безграмотный раб, довел свою память до такой остроты путем упражнения, что мог повторить наизусть около пятисот продиктованных ему восьмизначных цифр? Да это что еще! Я тебе приведу лучшие примеры. Ты думаешь, почему Наполеон из простого поручика сделался величайшим в истории императором? Ты думаешь — одно счастье? Да, конечно, отчасти и счастье, потому что с его предпрятиями нередко совпадали благоприятные комбинации случайностей, но главным образом — сила желания. Там, где мы с тобой десятки тысяч раз упустим из рук наш случай, человек, твердо решившийся, воспользуется им, не останавливаясь ни перед риском, ни перед святостью традиций, ни перед сотнями кровавых жертв! Сила желания и уверенность! Это — всё, это — знаменитый Архимедов рычаг. В Священном Писании сказано, что имеющий веру в горчичное зерно может сдвинуть с места гору. И это доступно всякому необыкновенно напряженному желанию. Исцеляют же факиры больных и воскрешают покойников!..

Я не узнавал Сливинского: он весь точно вырос и похорошел, глаза его горели огнем вдохновения, и голос звучал сурово и настойчиво.

— Отчего же ты в таком случае со своей странной теорией остаешься до сих пор простым шалопаем? — спросил я через некоторое время.

— Отчего? Оттого, что не хочу, но я испробовал мою волю над женщинами, к чему, собственно, и клоню речь. Запомни это великое изречение, — со временем, когда ты будешь писать обо мне свои воспоминания, оно тебе пригодится: нет такого мужчины, который, владея гибкой и сильной волей, не покорил бы себе любой женщины. И не только женщины с большим воображением или с тем, что зовется темпераментом, но даже неприступной, как богиня, и холодной, как статуя.

— По-твоему, пожалуй, и настоящую статую можно также загипнотизировать?

Я чувствовал, предлагая этот вопрос, как побледнели мои щеки. Точно заглянул в черную пропасть: и жутко и весело!

— Можно, — серьезно отвечал Сливинский. — Ты вспомни миф о Галатее, а ведь, как известно, нет ни одного мифа без основания. Да я тебе уже сказал раз, что нет ничего невозможного для сильной воли. Наконец, если ты и не оживишь статую, то ты сам, *понимаешь, сам поверишь, что сделал это.*

Сливинский скоро стал прощаться и, уходя, спросил:

— Что это у тебя покрыто простыней? Можно взглянуть?

Если бы я кинулся на него и схватил бы его за горло, как мне хотелось это сделать в первую минуту, то этот диковинный человек, пожалуй, насильно добрался бы до моей тайны. Но я не двинулся с места, протянул ему для прощанья руку и ответил, собрав все присутствие духа:

— Так, труха разная валяется.

Однако я и не подозревал никогда в себе такого запаса хитрости и самообладания! Тотчас по уходе Сливинского сделал ширмы из простынь и занавесил ими *тот* угол.

*Числа нет.* Голова моя кружится, руки дрожат и отказываются повиноваться. Не знаю, буду ли я в состоянии собрать мысли, чтобы связно передать все случившееся.

Когда наступила ночь, я опустил занавеску и зажег лампу. В комнате сразу стало как-то строго и таинственно. Глаза мои не могли оторваться от белых ширм, загораживающих угол: казалось, за ними происходила какая-то неслышная и незримая жизнь. Меня неудержимо тянуло за эти ширмы, но я медлил и, охваченный лихорадкой, старался растянуть это жгучее ожидание как можно дольше.

Наконец волнение мое возросло до нестерпимости, и я решился.

Глубоко затаив дыхание, осторожными, неслышными шагами подошел я к простыням, спускавшимся с потолка, и раздвинул их дрожащей рукой. В этой маленькой внутренней комнатке в три шага в квадрате была сладкая и чуткая тишина, которая может быть только в святилище. Она лежала на широком, грубом холсте, с ног до головы укрытая простыней, слабо обрисовывавшей ее чудные формы. Она лежала на спине, несколько согнув левую ногу. Голова ее, склоненная немного набок, покоилась на левой руке, а правая небрежно спускалась на землю.

Я не скажу, чтобы мне было страшно; если бы она в эту минуту поднялась со своего каменного ложа и обратилась ко мне со словами, я не испугался бы: я даже как будто ожидал того. Но я с трудом владел своими членами; они отяжелели, точно насыпанные песком, в глазах чрезвычайно быстро мелькало множество мелких блестящих точек...

И вот, хотя я и все время строго следил за своими ощущениями, я явственно заметил, что простыня, покрывающая возвышение груди, медленно опускается и поднимается, колеблемая тихим дыханием. Сердце мое билось в груди, как барабан, и все время ныло какой-то томительной, сладостной болью... Затем я теряю нить. Помню только, как я тихо опустился на колени, склоняясь головой к полу, как осторожно приподнял уголок простыни, как приблизил свои губы к ее ноге... Но, когда я ощутил губами ее холодное тело, — нестерпимо сладкая боль около сердца вдруг мгновенно вспыхнула и разрослась, как пламя, облитое спиртом... На секунду у меня мелькнула мысль, что это смерть. Должно быть, со мной был обморок, потому что когда я открыл глаза, то сквозь щели занавесок уже брезжил утренний свет.

Что же все это значит? Или прав был Сливинский, говоря, что я должен скоро умереть? Ну, что же? Я готов встретить смерть, как любимую гостью, потому что после того мига наслаждения, который мне доставила прошедшая ночь, разве может жизнь увлечь меня чем-нибудь? Ах! Как я благодарю то, что мне в детстве казалось таким ужасным несчастьем, что заставляло моих товарищей всегда отворачиваться с презрением от меня! Оно одно только сберегло меня от растления и, лишив главной человеческой радости, дало судьбе возможность с избытком вознаградить меня.

*Числа нет.* Сегодня я первый раз за два месяца вышел на улицу. Должно быть, я производил на прохожих весьма странное впечатление, потому что все они удивленно оглядывали меня с ног до головы. Морозный воздух совсем опьянил меня, глаза слипались от сверкавшего на солнце снега, а ноги, отвыкшие от ходьбы, подгибались и шатали во все стороны мое слабое тело. Кроме того, надо полагать, что мое пальто с приставшим к нему пухом и с ватой, обильно вылезшей из дыр, довершало общее впечатление.

Проходил напрасно целый день и не достал ни копейки. Придется отложить мысль о гробе. Господи! Что со мною делается?

*То же.* Почему у меня не идут из ума горячечные речи Сливинского? Целый день я о них думал и прихожу к таким выводам, которые меня самого пугают. Сливинский говорил, что для воли нет невозможного. Нужно, следовательно, только уметь напрягать эту волю, уметь желать настойчиво, страстно, неутомимо! Я отлично сознаю, что не может вещь, сделанная из камня, сама, по собственному побуждению встать с места и подойти ко мне. Но ведь странствуют же загипнотизированные субъекты по морям и лесам, которых на самом деле не существует? Стало быть, испытывают же люди то, чего, в сущности, нет и что испытано быть не может. Впрочем, в этом вопросе сам черт ногу сломит...

*То же.* Я опять проснулся среди ночи от неожиданного толчка и быстро сел на постели. Луна светила необыкновенно ярко, и, казалось, в ее лучах проносился однообразный журчащий шепот.

Видел ли я во сне что-нибудь или раньше, еще днем, думал о каком-нибудь важном деле, но мне казалось, что забыл нечто очень важное, и все старался припомнить. И вдруг, точно молния, мой мозг озарила страшная мысль: «Надо уметь желать». Я с большим трудом поднялся с кровати и опять с тем же сладким замиранием в сердце прокрался за перегородку. От холода, волнения и слабости мое тело шаталось, трепетало, челюсти часто и неприятно дрожали и стучали друг о друга. Осторожно и медленно, боясь потревожить чуткий сон Психеи, стащил я с нее простыню; она не шевельнулась ни одним мускулом, и только грудь ее едва заметно поднималась и опускалась.

О, сколько всемогущей красоты было в ее спокойном лице, в нежном, полупрозрачном, нагом теле! Я собрал весь запас силы воли, и, сжав кулаки так крепко, что ногти вошли в мясо ладони, я до боли стиснул зубы и сказал повелительно и уверенно: «Проснись!»

И вдруг среди жужжащей тишины раздался глубокий, прерывистый вздох. Неподвижное лицо оживилось улыбкой, глаза открылись и нежно встретились с моими глазами! Блаженное и острое ощущение около сердца опять вырвалось и хлынуло по всему моему существу чудовищным потоком. Я закричал и рухнул вниз; но, прежде чем лишиться сознания, я почувствовал, как холодные, обнаженные руки сомкнулись у меня на шее.

*То же.* Я не понимаю, что значит эта мрачная комната с решеткой, из-за которой выглядывают какие-то странные усатые лица! Или это та самая темница, из которой, как говорил Сливинский, должен освободиться мой дух?

*То же.* Боже мой! Как трудна победа! Временами я бьюсь головой в стены моей темницы, рву на себе волосы, вырываю из своего лица куски мяса. Когда же все это кончится?

*Число не поставлено.* Победа! Руки не повинуются мне больше, легкие с каждым дыханием захватывают все меньше и меньше воздуха. Но в недостигаемой высоте сквозь волны лучезарного света, я уже вижу твою нежную улыбку, мое божество! Моя Психея!

1892

## ЛУННОЙ НОЧЬЮ

Июльская теплая ночь еще не начинала свежеть, а в воздухе уже чувствовалась близость зари. Мы с Гамовым шли в ногу, тем скорым, эластически широким шагом, который вырабатывается после третьей версты; ни он, ни я, по обыкновению, не говорили ни слова, но я чувствовал, что мой спутник волнуется и хочет заговорить со мною.

Каждую субботу мы встречались с ним на даче у Елены Александровны и вместе оттуда возвращались пешком в Москву. На этих вечерах его присутствие почти не было заметно. Маленький, тщедушный, весь обросший черными волосами, прямыми и жесткими; с короткой, чуточку рыжеватой бородой, начинающейся под самыми глазами; всегда наглухо застегнутый и всегда немного унылый, — он был самым типичным учителем математики из всех, которых я когда-либо встречал. Странно то, что даже на глаза его никто не обращал внимания, и я сам разглядел их в первый раз только в тот вечер, о котором идет речь. А между тем это были удивительные глаза: большие, черные и постоянно грустные, *точно у раненого оленя*; на женском лице они заставили бы забыть об уродливости прочих черт, некрасивость же мужского лица делала их незаметными.

На вечерах у Елены Александровны он сидел на террасе, затканной диким виноградом, в самом дальнем углу. До сих пор, когда я вижу вечером освещаемую лампой зелень с ее мертвенным, жидким цветом, я не могу не вспомнить при этом лица и понурой фигуры Гамова. Мне всегда казалось, что его душа обременена крупным невысказанным горем.

По мере того как приходило время прощаться, я начинал чувствовать на себе его просящий взгляд. Случалось, с шапкой в руках, я заговаривал еще на полчаса, совсем позабыв о Гамоу. Он молча стоял рядом, не напоминая ни одним звуком о своем присутствии, и только когда я уже окончательно собирался уходить, он постоянно одним и тем же, неизменно робким тоном предлагал себя в спутники. До сих пор мне неизвестно: пользовался ли я его особой симпатией, или просто он считал меня физически сильнее моих товарищей.

Пролесок, которым мы до сих пор шли, кончился. Перед нами открылось ровное, без одного кустика, осеребренное луною поле, сливавшееся вдаль с безоблачным куполом неба. Мы свернули с дороги на росистую траву, заглушавшую шум наших шагов, и я стал поневоле чутко прислушиваться и приглядываться к ночи. Где-то, очень далеко, сполохнулась и завозила в кусте птичка, чирикнув, точно сквозь сон, два раза; по ветру еле-еле донеслось звонкое, тревожное ржание жеребенка. По траве низко стлались седые клочья тумана; они пропадали из глаз и окутывали нас сыростью, когда мы подходили к ним ближе. В воздухе пахло скошенным сеном, медом и росой.

Ночью, в открытом поле, при назойливо ярком свете луны, все чувства приобретают какую-то странную, тонкую восприимчивость. Мне мало-помалу начало сообщаться нервное настроение моего спутника; я попробовал было запеть, но сам испугался того напряженного, фальшивого звука, который издало мое горло.

Я почувствовал на своем лице, сбоку, пристальный взгляд Гамова и повернул к нему голову; он, по-видимому, дожидался этого движения.

— Скажите, пожалуйста, — произнес он своим, по обыкновению, вежливым и немного робким тоном, — вы изволили слышать сегодняшние разговоры?

Разговор в этот вечер шел о привидениях, предчувствиях, таинственных дамах в белом и храбрых студентах и офицерах, — один из обыкновенных дачных разговоров.

— Конечно, все это ерунда, — продолжал Гамоу, не ожидая моего ответа, — и говорилось больше для забавы. Но я заметил, что вы не принимали участия в этом разговоре, и потому, смею думать, можете отнестись серьезно к волнующему меня вопросу.

«Эге! — подумал я. — Похоже на то, что готовится излияние чувствительной души».

— Скажите мне... Впрочем, если вам смешно, вы, конечно, можете не отвечать... Бойтесь вы чего-нибудь?

Мне показалось, что он сразу побледнел, предлагая этот вопрос, и я тогда же заметил красоту и печальное выражение его глаз, казавшихся еще чернее и еще больше на лице, освещенном луною.

— Я, впрочем, не то спрашиваю. Не бояться нельзя, потому что это все от нервов. Но что для вас страшнее всего? Чего бы вы не могли забыть в продолжение всей вашей жизни?

Я по опыту знал, как взвинчивают воображение такие разговоры, и отвечал с намерением сухо:

— По правде сказать, я больше всего боюсь маленьких зеленых лягушек.

— Простите, я не знал, что вам этот разговор неприятен, — сказал Гамов и понурил покорно голову.

Мне стало тотчас же жалко, что я на его учтивый и серьезный вопрос отвечал шутковством. Я начал вывертываться.

— Помилуйте, отчего же? Все равно молча идти скучно. Только я хотел сказать, что у меня нервы крепкие и своим воображением я владею настолько, что, мне кажется, сумею не поддаться никакому страху.

Когда Гамов опять заговорил ровным, глухим голосом, то я заметил странную особенность его речи. Он часто переводил дух, но забирал очень мало воздуха и как будто бы захлебывался. Поэтому фразы у него выходили короткими, отрывистыми, а конец их был еле слышен. Вероятно, это происходило от какой-нибудь грудной болезни.

— А я, голубчик, очень многого, почти всего боюсь. Когда я был еще ребенком, меня пугали буками разными, трубочистами, ну, знаете, чем вообще детей пугают. А я был мальчишка очень нервный, восприимчивый. Должно быть, страх-то на всю жизнь во мне и засел. Поверите ли, я дошел до наслаждения страхом, и когда мной овладевает припадок этой подлой робости, я стараюсь еще больше себя расстроить... Возьмите вы, например, самую невинную вещь: лунные ночи. Разве они не ужасны! Холодный свет, не то белый, не то синеватый, именно мертвый... Мертвая, одинокая луна, лишенная жизни и воздуха... мириады серебряных точек... И земля, такая же точка, песчинка, несущаяся в вечный мрак... Ужасно! Все, все мне говорит яснее, что я умру, погибну в одно прекрасное время и что моя смерть необходима для какого-то неумолимо точного мирового закона... Ужасно!..

Он помолчал секунд десять, часто дыша, и потом продолжал:

— Вдвоем еще ничего. А вот когда один идешь, да в таком ровном поле, как теперь, вот тогда напрягаются все чувства. Смотрите, как этот фальшивый свет сгладил все неровности, точно скатерть — поле, и, кажется, конца ему нет... А я иду один и думаю, что нет кругом на целые сотни верст, кроме меня, ни одного живого существа. И откуда ни посмотри, отовсюду меня видно; захоти я спрятаться, так некуда. Но едва я это подумаю, мне уже кажется, что на меня в самом деле смотрят невидимые для меня глаза, смотрят отовсюду, куда я только ни повернусь. И спереди, и с боков, и сзади... Всего страшнее, что сзади: так и тянет обернуться. А сердце стучит, так стучит, что и этому «невидимому», наверно, слышно, волосы на голове шевелятся... ужас, точно холод, все тело охватывает...

Последние слова он не произнес, а точно выкрикнул внезапно зазвевшим горловым голосом. Нервная дрожь пробежала у меня по спине, но

я не остановил Гамова, хотя и чувствовал, что он сейчас разоидется. Мною овладело любопытство.

— Всего же, всего страшнее для меня, — в голосе Гамова послышался оттенок таинственности, — это человек. О! Не тот человек, что преграждает вам дорогу на перекрестке и хватает вас за горло... Это очень просто: ему хочется есть и не хочется работать. Я мужчина и силу сумею отразить силой. Меня, — и голос Гамова вдруг понизился до шепота, — меня пугает то, что в каждом из нас есть одна темная, закрытая для всех наблюдений, ужасная сторона. Я должен начать издали. Вам не скучно, что я так много говорю?

— Нет, нет, пожалуйста. Мне очень интересно...

— Случалось вам видеть во сне, будто вы сдаёте трудный экзамен? Вам задают вопрос, и вы на него никак не можете ответить. Вы усиленно думаете, ломаете голову, но ответ, как нарочно, не идет на ум. Тогда учитель обращается к одному из ваших товарищей, тот отвечает самым правильным и блестящим образом, и вам становится стыдно за ваше незнание. Случалось это с вами?

— Не помню, — отвечал я, еще не понимая, к чему клонит речь Гамова. — Во всяком случае, если я этого самого не видал, то видал подобное. Я понимаю, что вы хотите выразить.

— Понимаете? Ну, и прекрасно. Дальше. Вам, наверно, приходилось когда-нибудь идти по полю и глубоко задуматься. Так задуматься, что, спроси вас, по какой местности вы шли, вы не сумели бы ответить. А между тем вы старательно переступали ямы, обходили грязные места и ни разу не упали. А? Отчего это? И много, много таких явлений... Я из них вывел одну, очень странную теорию...

Он посмотрел на небо, на слабо мерцающие звезды и помолчал.

— Я, видите ли, думаю, что человеку присущи две воли. Одна — сознательная. Этой волей я ежечасно, ежеминутно управляю своими действиями и постоянно сознаю в себе ее присутствие. Ну, одним словом, она есть то, что всякий привык понимать под именем воли. А другая воля — бессознательная; она в некоторых случаях распоряжается человеком совершенно без его ведома, иногда даже против его желания. Человек ее не понимает и не сознает в себе. Во сне на экзамене отвечает ваш товарищ. Но ведь товарища-то на самом деле нет, отвечаете вы же, и вы же удивляетесь тому, что говорите. Видите, какая двойственность? Даже теперь вот, в настоящую секунду: вы идете, переставляете ноги, махаете руками. Но ведь вы о ваших руках и ногах даже и думать позабыли, потому что заняты разговором. Кто же ими двигает, если не эта вторая, бессознательная воля? А гипнотизм, когда один субъект, против желания, подчиняется приказаниям другого? И много, много... Понимаете вы хоть немного мою мысль?

Глядя на меня своими грустными большими глазами, он как будто бы извинялся за этот странный разговор.

— Понимаю отчасти, — отвечал я неопределенно.

— Так вот этой самой таинственной области в человеке я и боюсь, — продолжал Гамов, опять понижая свой голос до шепота. — Раз эта вторая воля есть, есть и физический орган, который наряду со всеми прочими органами подвержен болезням. Только человек ничего об этой воле не знает и болезни своей не чувствует: в этом самое страшное. Лунатики, сумасшедшие, преступники с наследственными влечениями, бесноватые, одержимые противостественными похотями, эпилептики — все эти несчастные, у которых так дико, так неожиданно, так ужасно проявляются их болезни, все они страдают одним и тем же: расстройством их второй воли.

Главное — неожиданно и совершенно непонятно. Я боюсь самого себя, боюсь вас, боюсь всякого... Ну вот, например, мы с вами идем, а я вдруг останавливаюсь, беру вас за рукав (Гамов действительно дотронулся до моего рукава, отчего по моему телу пробежала какая-то брезгливая дрожь) и ни с того ни с сего, молча, делаю страшную, отвратительнейшую гримасу?... Разве это не страшно? Особенно ночью, в поле, один на один?

Я с болезненным любопытством поглядел в лицо Гамову. Я почувствовал, что, сделай он в самом деле сейчас гримасу, — я с ужасом, но в ту же секунду повторил бы ее на своем лице. От одной этой мысли мне стало холодно, но, к счастью, гримасы Гамов не сделал.

Мы подходили к тому месту, где дорога разветвлялась на две: одна вела в Москву, а другая — в один из загородных парков. На перекрестке росли две корявые березы.

— Есть у вас папиросы? — спросил Гамов. — У меня все вышли.

Мы остановились на перекрестке, и он стал закуривать. Закуривал он торопливо, и я подумал, что ему пришла в голову еще какая-то мысль. Действительно, затянувшись поспешно несколько раз подряд, он опять заговорил:

— Известен вам тот странный факт, что убийцу влечет к месту преступления? Это, конечно, давно избито и заезжено, но зато еще раз подтверждает мою, вероятно, нелепую теорию. Вы подумайте только: ведь сознательно убийца ни за что не пошел бы. Это и неблагоприятно, и мучительно, и, наконец, совсем не нужно. Однако он идет, идет и идет, и потом ни за что не скажет, почему пришел... Ну, что вы на это скажете?

Я не знал, чем ответить, кроме неопределенного мычания; мне становилось неловко. Когда Гамов снова торопливо затянулся несколько раз подряд, — его лицо, то освещаемое огнем папиросы, с длинными тенями от носа и бровей, то опять тонувшее в темноте, показалось мне страшным. К сожалению, я не мог теперь его остановить, потому что чувствовал себя не в силах сделать это.

Предрассветный легкий ветерок тронул листья в верхушке березы, под которой мы стояли, и они затрепетали с тревожным шумом. Гамов с силою швырнул недокуренную папиросу об землю и кинул на меня беспокойный взгляд.

— Да вот, например, что. Вообразите, что вы идете не со мной, а с кем-нибудь другим, при совершенно таких же обстоятельствах и после такого же разговора, какой был у нас с вами. Точно так же, как и сейчас, вы останавливаетесь под этими самыми березами... И вдруг ваш спутник, обыкновенно молчаливый и робкий на вид, начинает вам рассказывать, как он два года тому назад на этом, на вот этом самом месте... — Гамов показал пальцем перед собою; голос его ослабевал и обрывался, — убил женщину... И главное, вы видите, что он не шутит, потому что сообщает такие мелочные, такие тонкие и своеобразные подробности, каких ни один психологический писатель не придумает... Ну, хоть вот так...

Гамов задумался, как будто бы что-то припоминая. Давешний ужас опять прополз у меня по спине своими мохнатыми лапами.

— Я все это очень умно устроил (я говорю от имени этого вашего знакомого). Представьте себе: ни отец, ни мать не знали, что она со мной знакома. О! Даже больше: она меня ненавидела, питала ко мне отвращение, как к гадине, но я все-таки сумел овладеть ее волей и воображением до невероятной степени. Если я в полдень проходил мимо ее окна, она уж непременно выходила перед вечером на Тверской бульвар. Это условный знак у нас был такой (видите, какая мелкая подробность). Покорность та-

какая была оттого, что я случайно проник в ее тайну, очень простую тайну: эта девушка имела ребенка. У меня в руках находились вещественные доказательства, а девушка эта была единственным утешением нежных родителей, да, кроме того, сюда и патрицианская гордость примешивалась. Да, черт! Много было подробностей. (Заметьте, все это вам говорит ваш предполагаемый знакомый.) И все это я сумел одеть некоторым туманным покровом таинственности... Шантаж, вы хотите сказать? Вот именно, именно шантаж; самое подходящее слово, хотя все это делалось не из-за выгоды материальной, а потому что ваш знакомый девушку любил, как сорок тысяч... и так далее... Таким образом, я ей приказал однажды летом прийти на определенное место; мы взяли извозчика и поехали за город на дачу. Дача, конечно, была пустым предлогом: мы там никого не застали. Пришлось возвращаться назад пешком, вот как теперь мы с вами. Даже ночь была такая же лунная, теплая и душистая... Только теперь, — Гамов вынул из кармана часы и посмотрел на них, близко поднося к глазам, — пять минут четвертого, а тогда мы подошли к перекрестку не позже как в половине второго...

Понимаете? Я ее любил! Она была изумительно хороша, изумительно! Что-то в ней было страстное, непокорное и очень сильное: как женщина, она обещала бездну наслаждений. Она была выше меня ростом, гибкая, с высокой талией и маленьким бюстом, точно у классической богини, с сильными маленькими руками. Ее пышная натура особенно сказывалась в волосах. Эти золотые, нежные волосы, местами цвета спелого ореха, просто мешали ей. Они не слушались прически и лезли ей на глаза; у нее была милая, грациозная привычка откидывать их назад быстрым движением головы. Это была необыкновенная женщина!

Вы не испытывали никогда этого захватывающего дух сладострастия, когда сознаешь, что любимая тобой женщина, которая тебя презирает, находится в твоих руках и ты ее можешь взять силой? Верно, не испытывали? А у меня в кармане был американский револьвер Мервинга, и каждый раз, опуская руку в правый карман пальто и ощущая холод металлического дула, я думал, что если здесь выстрелить, то ни одна душа не услышит. И каждый раз мне хотелось потянуться от какого-то чертовски сладкого предчувствия... Здесь ваш знакомый кстати сообщит вам еще одну деталь: револьвер он взял из того расчета, что от него, во всяком случае, меньше крови...

Боже мой! Какое это наслаждение! Говорить ей о любви, грозить убить ее, вымогать у нее ласки с револьвером у виска! Ах, это — необъяснимое сладострастие... Но знаете... — Гамов вдруг остановился и хрипло, растянуто засмеялся; я не мог пошевелиться, — все это, конечно, к примеру... Знаете, что она сделала, когда я вот на этом самом месте, где мы теперь стоим с вами, приставил к ее виску револьвер и грубо, ну так грубо, как разве может только пьяный солдат, потребовал, чтобы она мне отдалась? Знаете, что она сделала? Она расхохоталась и назвала меня трусом, несобственным даже на такую подлость. И не то что расхохоталась искусственно, а на самом деле, громко, презрительно так... О, как она была великолепна в эту минуту и как я сознавал свою собственную мерзость... Но мне было все равно... Я сказал, что сию секунду выстрелю; она не шевельнулась ни одним мускулом и все продолжала смеяться. Глаза у нее стали большие такие и дерзкие... Я едва надавил собачку... у меня пальцы обессилели и затерпли губы... Мысль работала страшно сильно. Я все испытывал себя: могу или не могу? Мне как будто бы интересно было: сильно нужно нажать, чтобы выстрелить? Я жал потихоньку, а со стороны точно сам за собою наблю-



дал... И вдруг ее лицо вспыхнуло... По долине грохот какой-то дробный прокатился. Я сначала ничего не понимал... И какая подробность чудовищная мне в память успела врезаться: когда ее лицо осветилось, я еще успел на нем разглядеть улыбку!..

Когда я к ней нагнулся, ее висок и часть лба были в крови. Кровь была лужей и на земле, а на ее поверхности какие-то беловатые жирные струйки... Не знаю, может быть, мне это и показалось. Одна прядь ее золотых волос прилипла к ране. Эта подробность у меня несколько месяцев не выходила из головы: все хотелось взять и отвести эту прядь остороженнько назад... Смерть гадка, страшна и таинственна... Но стоять возле... созерцать, как молодая, красивейшая женщина, за минуту перед тем смеявшаяся, становится холодной вещью!.. И когда я сам, сам, своими руками произвел это таинственное явление!.. Ужасно!!!

Гамов задыхался. Последние слова он произнес еле слышно, точно в раздумье или в бреду, и закрыл лицо руками. Когда же он отнял руки, то я увидел, что его лицо искажено кривой, измученной улыбкой.

— Ну-с! А знаете, что всего страшнее, мой молодой друг? Всего страшнее то, что я знаю ваши теперешние мысли. Вы думаете, что вся эта история произошла не с вашим выдуманном другом, а с самим Гамовым. А убийцу-то вот и потянуло на самом месте преступления рассказать все первому встречному под видом аллегории, так сказать, заглянуть в пропасть? Ну что, правда? Правда?

Когда он это сказал, я в тот же миг с поразительной ясностью понял ту мысль, которая меня давно уже угнетала и которую я боялся представить себе отчетливо.

Наши глаза встретились и не могли оторваться; наши лица сошлись страшно близко. Ужас нечеловеческий — чудовищный ужас сковал мое тело, сжал ледяной рукой мое горло, сдвинул к затылку кожу на моем черепе. Продлись это состояние еще секунды три — произошло бы что-нибудь нелепое. Может быть, я бросился бы бежать и бежал бы до изнеможения, трясясь и падая. Может быть, мы оба с криком кинулись бы друг на друга, как два диких зверя...

Вдали по дороге послышался стук колес. И я и Гамов одновременно вздохнули всей грудью, точно пробудясь от страшного сна, и отвели глаза.

— Ну, я не знал, что вы такой нервный, — заметил было шутливо Гамов, но я не отвечал ему.

Во всю дорогу мы не сказали друг другу ни слова и разошлись, не подав друг другу руки.

А на востоке уже пылали багряные, желтые и розовые тона. Сизая тяжелая туча одна напоминала об уходящей ночи, но и она кое-где была прорезана тонкими, длинными полосками червонного золота, и края ее играли нежными переливами розового перламутра.

Гамов перестал бывать у Елены Александровны, а я хоть и бывал, но возвращался с ее дачи в Москву другою дорогой.

1893

## ДОЗНАНИЕ

Подпоручик Козловский задумчиво чертил на белой клеенке стола тонкий профиль женского лица со взбитой кверху гривкой и с воротником а la Мария Стюарт. Лежавшее перед ним предписание начальства коротко приказывало ему произвести немедленное дознание о краже пары голе-

нищ и тридцати семи копеек деньгами, произведенной рядовым Мухаметом Байгузиным из запертого сундука, принадлежавшего молодому солдату Венедикту Есипаке. Собранные по этому делу свидетели: фельдфебель Остапчук и ефрейтор Пискун, и вместе с ними рядовой Кучербаев, вызванный в качестве переводчика, помещались в хозяйской кухне, откуда их по одному впускал в комнату денщик подпоручика, сохранявший на лице приличное случаю — степенное и даже несколько высокомерное выражение.

Первым вошел фельдфебель Тарас Гаврилович Остапчук и тотчас же дал о себе знать учтивым покашливанием, для чего поднес ко рту фуражку. Тарас Гаврилович — «зуб» по уставной части, непоколебимый авторитет для всего галунного начальства — пользовался в полку весьма широкою известностью. Под его опытным руководством сходили благополучно для роты смотры, парады и всякие инспекторские опросы, между тем как ротный командир проводил дни и ночи в изобретении финансовых мер против тех исполнительных листов, которые то и дело представляли на него в канцелярию полка бесчисленные кредиторы из полковых ростовщиков. Снаружи фельдфебель производил впечатление маленького, сильного крепыша с наклоном к сытой полноте, с квадратным красным лицом, на котором зорко и остро глядели узенькие глазки. Тарас Гаврилович был женат и в лагерное время после вечерней переклички пил чай с молоком и горячей булкой, сидя в полосатом халате перед своей палаткой. Он любил говорить с вольноопределяющимися своей роты о политике, причем всегда оставался при особом мнении, а несогласного назначал иногда на лишнее дежурство.

— Как... тебя... зовут? — спросил нерешительно Козловский.

Он еще и года не выслужил в полку и всегда запинался, если ему приходилось говорить «ты» такой заслуженной особе, как Тарас Гаврилович, у которого на груди висела большая серебряная медаль «За усердие» и левый рукав был расшит золотыми и серебряными углами.

Опытный фельдфебель очень тонко и верно оценил замешательство молодого офицера и, несколько польщенный им, назвал себя с полною обстоятельностью.

— Расскажите... расскажите... кто там эту кражу совершил? Сапоги там какие-то, что ли? Черт знает что такое!

Черта он прибавил, чтобы хоть немного поддать своему тону уверенности. Фельдфебель выслушал его с видом усиленного внимания, вытянул вперед шею. Показание свое он начал неизбежным «так что».

— Так что, ваш бродь, сижу я и переписываю наряд. Внезапно прибегает ко мне дежурный, этот самый, значит, Пискун, и докладывает: «Так и так, господин фельдфебель, в роте неблагополучно». — «Как так неблагополучно?» — «Точно так, говорит, у молодого солдатика сапоги украли и тридцать копеек денег». — «А зачем он, спрашиваю, сундука не запер?» Потому что, ваш бродь, у них, у каждого, при сундучке замок должен находиться. «Точно так, говорит, он запер, только у него взломали». — «Кто взломал? Как смели? Этта что за безобразие?» — «Не могу знать, господин фельдфебель». Тогда я пошел к ротному командиру и доложил: так и так, ваше высокоблагородие, и вот что случилось, а только меня в это время в роте не было, потому что я ходил до оружейного мастера.

— Это все, что тебе известно?

— Точно так.

— Ну, а этот солдат, Байгузин, хороший он солдат? Раньше его замечали в чем-нибудь?

Тарас Гаврилович потянул вперед подбородок, как будто бы воротник резал ему шею.

— Точно так, в прошлом году в бегах был три недели. Я полагаю, что эти татары — самая несообразная нация. Потому что они на луну молятся и ничего по-нашему не понимают. Я полагаю, ваш бродь, что их больше, татар то есть, ни в одном государстве не водится...

Тарас Гаврилович любил поговорить с образованным человеком. Козловский слушал молча и кусал ручку пера.

Благодаря недостатку служебного опыта он не мог ни собраться с духом, ни найти надлежащий, твердый тон, чтобы осадить политичного фельдфебеля. Наконец, заикаясь, он спросил, чтобы только что-нибудь сказать, и в то же время чувствуя, что Тарас Гаврилович понимает ненужность его вопроса:

— Ну, и что же теперь будут с Байгузиным делать?

Тарас Гаврилович ответил с самым благосклонным видом:

— Надо полагать, что Байгузина, ваш бродь, будут теперь пороть. Потому, ежели бы он в прошлом году не бегал, ну, тогда дело другого рода, а теперь я так полагаю, что его беспременно выдерут. Потому как он штрафанный.

Козловский прочел ему дознание и дал для подписи. Тарас Гаврилович бойко и тщательно написал свое звание, имя, отчество и фамилию, потом перечел написанное, подумал и, неожиданно приделав под подписью закорючку, хитро и дружелюбно поглядел на офицера.

Затем вошел ефрейтор Пискун. Он еще не дорос до разбирания степени авторитетности начальства и потому одинаково пучил на всех глаза, стараясь говорить «громко, смело и притом всегда правду». От этого, уловив в вопросе начальника намек на положительный ответ, он кричал «точно так», а в противном случае — «никак нет».

— Так ты не знаешь, кто украл у молодого солдата Есипаки голенища?

Пискун закричал, что он не может знать.

— А может быть, это Байгузин сделал?

— Точно так, ваше благородие! — закричал Пискун радостным и уверенным голосом.

— Почему же ты так думаешь?

— Не могу знать, ваше благородие.

— Так ты, может быть, и не видал вовсе, как он крал-то?

— Никак нет, не видал. А когда солдаты пошли на ужин, то он все около нар вертелся. Я его спросил: «Чего ты здесь околачиваешься?» А он говорит: «Я хлеб свой ишу».

— Значит, ты самой кражи не видал?

— Не видал, ваше благородие.

— Да, может быть, кто-нибудь еще, кроме Байгузина, там был? Может быть, это вовсе и не он украл?

— Точно так, ваше благородие.

С ефрейтором Козловский чувствовал себя несравненно развязнее и потому, назвав его ослом, дал ему для подписи дознание.

Пискун долго пристраивался, громко сопя и высовывая кончик языка от усердия, и, наконец, вывел с громадным трудом: *ефре Спирйдонь Пескуноу*.

Теперь Козловский понял, что все дело в конце концов сводилось к одному шаткому показанию дежурного по роте — Пискуна, который видел Байгузина околачивающимся во время ужина в казарме. Что же касается до молодого солдата Есипаки, то его еще раньше отправили в госпиталь, потому что он заболел трахомой.

Наконец денщик впустил обоих татар. Они вошли робко, с преувеличенной осторожностью ступая сапогами, с которых кусками валилась на пол осенняя грязь, и остановились у самой двери. Козловский приказал им подойти ближе; они сделали еще по три шага, высоко поднимая ноги.

— Фамилии! — обратился к ним офицер.

Кучербаев очень бойко отчеканил свою фамилию, в которую входили и «оглы», и «гирей», и «мирза».

Байгузин молчал и глядел в землю.

— Скажи ему по-татарски, чтобы он назвал свою фамилию, — приказал Козловский переводчику.

Кучербаев повернулся к обвиняемому и что-то проговорил по-татарски ободрительным тоном.

Байгузин поднял глаза, поглядел на переводчика тем немигающим и печальным взглядом, каким смотрит на своего хозяина маленькая обезьянка, и проговорил быстро, хриплым и равнодушным голосом:

— Мухамет Байгузин.

— Точно так, ваше благородие, Мухамет Байгузин, — доложил переводчик.

— Спроси его, *взял* он у Есипаки голенища?

Подпоручик опять убедился в своей неопытности и малодушии, потому что из какого-то стыдливого и деликатного чувства не мог выговорить настоящее слово «украл».

Кучербаев снова повернулся и заговорил, на этот раз вопросительно и как будто бы с оттенком строгости. Байгузин поднял на него глаза и опять промолчал. И на все вопросы он отвечал таким же печальным молчанием.

— Не хочет говорить, — объяснил переводчик.

Офицер встал, прошелся задумчиво взад и вперед по комнате и спросил:

— А по-русски он совсем ничего не понимает?

— Понимает, ваше благородие. Он даже говорить может. Эй! Харандаш, короли минга<sup>1</sup>, — обратился он опять к Байгузину и заговорил по-татарски что-то длинное, на что Байгузин отвечал только своим обезьяньим взглядом. — Никак нет, ваше благородие, не хочет.

Наступило молчание; подпоручик еще раз прошелся из угла в угол и вдруг закричал со злостью на переводчика:

— Иди. Ты мне больше не нужен... Ступай, ступай!

Когда Кучербаев ушел, Козловский еще долго ходил из угла в угол вдоль своей единственной комнаты. В трудные минуты жизни он всегда прибегал к этому испытанному средству. И каждый раз, проходя мимо Байгузина, он сбоку, так, чтобы это было незаметно, рассматривал его. Этот защитник отечества был худ и мал, точно двенадцатилетний мальчик. Его детское лицо, коричневое, скуластое и совсем безволосое, смешно и жалко выглядывало из непомерно широкой серой шинели с рукавами по колени, в которой Байгузин болтался, как горошина в стручке. Глаз его не было видно, потому что он их все время держал опущенными.

— Отчего ты не хочешь отвечать? — спросил подпоручик, остановившись перед солдатиком.

Татарин молчал, не поднимая глаз.

<sup>1</sup> Кор а́ли минг а́ — значит по-татарски — смотри на меня. Ха р а н д а ш — приятель. (Прим. А. И. Куприна.)

— Ну, чего же ты молчишь, братец? Вот про тебя говорят, что ты взял голенища. Так, может быть, это и не ты вовсе? А? Ну, говори же, взял ты или нет? А?

Не дождавшись ответа, Козловский опять принялся ходить. Осенний вечер быстро темнел, и все в комнате принимало скучный и серый оттенок. Углы совсем потонули в темноте, и Козловский с трудом различал понурую, неподвижную фигуру, мимо которой он каждый раз проходил. Подпоручик понимал, что если бы он так продолжал ходить весь вечер и всю ночь, вплоть до утра, то и понурая фигура продолжала бы так же неподвижно и молчаливо стоять на своем месте. Эта мысль была ему особенно тяжела и неприятна.

Стенные часы с гирьками быстро и глухо пробили одиннадцать часов, потом зашипели и, как будто бы в раздумье, прибавили еще три.

Козловскому стало очень жаль этого ребенка в большой солдатской шинели. Впрочем, это было почти неуловимое, странное и совсем новое чувство для Козловского, который не умел в нем разобраться. Как будто бы в жалкой пришибленности и беспомощности Байгузина был виноват не кто иной, как сам подпоручик Козловский. В чем заключалась эта вина, он не сумел бы ответить, но ему сделалось бы стыдно, если бы теперь кто-нибудь напомнил ему, что он недурен собой и ловко танцует, что его считают неглупым, что он выписывает толстый журнал и имеет связь с хорошеющей дамой.

Стало так темно, что Козловский уже не различал фигуры татарина. На печке заиграли длинные бледные пятна от восходившего молодого месяца.

— Послушай, Байгузин, — заговорил Козловский искренним, дружеским голосом, — Бог ведь у нас у всех один. Ну, Аллах, что ли, по-вашему? Так ведь надо правду говорить. А? Если не скажешь теперь, все равно потом узнают, и будет еще хуже. А сознаешься — все-таки не так. И я за тебя попрошу. Честное слово, уж я тебе говорю, что просить буду за тебя. Понимаешь, одно слово — Аллах.

Опять в комнате сделалось тихо, и только часы стучали с настойчивым и скучным однообразием.

— Ну, Байгузин, я же тебя как человек прошу. Ну, просто, как человек, а не как начальник. Начальник йок. Понимаешь? У тебя отец-то есть? А? Может быть, и иная есть? — прибавил он, вспомнив случайно, что по-татарски мать — иная.

Татарин молчал. Козловский прошелся по комнате, перетянул вверх гирьки часов и затем, подойдя к окну, стал смотреть с тоскливым сердцем в холодную темноту осенней ночи.

И вдруг он вздрогнул, услышав сзади себя хриплый и тонкий голос:

— Иная есть.

Козловский быстро обернулся. Он как раз в это время думал, что и у него есть иная, милая старушка иная, от которой он отделен пространством в полторы тысячи верст. Он вспомнил, что, в сущности, без нее он был совсем одинок в этом крае, где говорят ломаным русским языком и где он всегда чувствовал себя чужим; вспомнил ее теплую, ласковую и нежную заботу; вспомнил, что иногда, увлекаемый шумной, подчас безалаберной жизнью, он позабывал в продолжение месяцев отвечать на ее длинные, обстоятельные и нежные письма, в которых она неизменно поручала его покровительству Царицы Небесной.

Между подпоручиком и молчаливым татаринком вдруг возникла тонкая и нежная связь. Козловский решительно подошел к солдату и положил ему обе руки на плечи.

— Ну, послушай, голубчик, говори правду, украл ты или не украл эти голенища?

Байгузин потянул носом и повторил, точно эхо:

— Украл голенища.

— И тридцать семь копеек украл?

— Тридцать семь копеек украл.

Подпоручик вздохнул и опять зашагал по комнате. Теперь он уже сожалел, что начал разговор про «инай» и довел Байгузина до сознания. Раньше, по крайней мере, хоть не было ни одной прямой улики.

«Ну, околачивался он в казарме, и что же из того, что околачивался? И никто бы ничего не мог доказать. А теперь уж по одному чувству долга приходится его сознание записать. Да полно, долг ли это? А может быть, долго мой теперь в том и состоит, чтобы этого сознания не записывать? Ведь проникло же ему в душу какое-то хорошее чувство и даже, вероятнее всего, раскаяние. А его, как рецидивиста, уж непременно, непременно высекут. Разве это поможет? Вот и «инай» у него тоже есть. И кроме того, долг — ведь это «тягучее понятие», как говорит капитан Греббер. Ну, а если его еще раз будут допрашивать? Не могу же я входить с ним в соглашение, учить его обманывать начальство. И для какого черта только я про эту «инай» вспомнил! Ах ты, бедняга, бедняга! Я же тебе своим сочувствием беды наделал».

Козловский приказал татарину отправиться в казармы и прийти завтра ранним утром. До этого времени он надеялся обдумать все дело и остановиться на каком-нибудь мудром решении. Самым лучшим ему все-таки казалось обратиться к кому-нибудь из особенно симпатичных начальников и объяснить все подробности.

Поздно ночью, ложась в постель, он спросил у своего денщика, что, по его мнению, сделают с Байгузиным.

— Беспременно его выдерут, ваше благородие, — ответил денщик убежденным тоном. — Да как же его не драть, когда он у солдата последние голенища тащит? Солдат — человек Богу обреченный... Где же это видано, чтобы у своего брата последние голенища воровать? Скаж-жите пожалуйста!..

Стояло ясное и слегка морозное осеннее утро. Трава, земля, крыши домов — все было покрыто тонким белым налетом инея; деревья казались тщателью напудренными.

Широкий казарменный двор, обнесенный со всех четырех сторон длинными деревянными строениями, кишел, точно муравейник, серыми солдатскими фигурами. Сначала казалось, что в этой муравьиной суете не было никакого порядка, но опытный взгляд уже мог заметить, как в четырех концах двора образовались четыре кучки и как постепенно каждая из них развертывалась в длинный правильный строй. Последние запоздавшие люди торопливо бежали, дожевывая на ходу кусок хлеба и застегивая ремень с сумками.

Через несколько минут роты одна за другой блеснули и звякнули ружьями и одна за другой вышли к самому центру двора, где стали лицами внутрь, в виде правильного четырехугольника, в середине которого осталась небольшая площадь, шагов около сорока в квадрате.

Небольшая кучка офицеров стояла в стороне, вокруг батальонного командира. Предметом разговора служил рядовой Байгузин, над которым должен был сегодня приводиться в исполнение приговор полкового суда.

Разговором больше всех завладел громадный рыжий офицер в толстой шинели солдатского сукна с бараньим воротником. Эта шинель имела свою историю и была известна в полку под двумя названиями: постового тулупа и бабушкина капота. Впрочем, никто так не называл этой шинели при самом владельце, потому что все побаивались его длинного и грязного языка. Он говорил, как всегда, грубо, с малорусским произношением, с широкими жестами, никогда не подходившими к смыслу разговора, с тем нелепым строением фразы, которое обличает бывшего семинариста.

— Вот у нас в бурсе так действительно драли. Хочешь не хочешь, бывало, а в субботу снимай штаны! Так и говорили: «Правда твоя, миленький, правда, — а ну-ка ложись...» Коли виноват — в наказание, а не виноват — в поощрение.

— Ну, этому сильно, должно быть, достанется, — вставил батальонный командир, — солдаты воровства не прощают.

Рыжий офицер быстро повернулся в сторону батальонного с готовым возражением, но раздумал и замолчал.

К батальонному командиру подбежал сбоку фельдфебель и вполголоса доложил:

— Ваше высокоблагородие, ведут, этого самого татарчонка.

Все обернулись назад. Живой четырехугольник вдруг зашевелился без всякой команды и затих. Офицеры поспешно пошли к ротам, застегивая на ходу перчатки.

Среди наступившей тишины резко слышались тяжелые шаги трех человек. Байгузин шел в середине между двумя конвойными. Он был все в той же непомерной шинели, заплатами на спине кусками разных оттенков: рукава по-прежнему болтались по колено. Поля нахлобученной шапки опустились спереди на кокарду, а сзади высоко поднялись, что придавало татарину еще более жалкий вид. Странное производил впечатление этот маленький, сгорбленный преступник, когда он остановился между двумя конвойными, посреди четырехсот вооруженных людей.

С тех пор как подпоручик Козловский прочел в приказе о назначении над Байгузиным телесного наказания, им овладели дикие и очень смешанные впечатления. Ему ничего не удалось сделать для Байгузина, потому что начальство на другой же день заторопило его с дознанием. Правда, помня данное татарину слово, он обратился к своему ротному командиру за советом, но потерпел полную неудачу. Ротный командир сначала удивился, потом расхохотался и, наконец, видя возрастающее волнение молодого офицера, заговорил о чем-то постороннем и отвлек его внимание. Теперь Козловский чувствовал себя не то что предателем, но ему казалось, будто он обманом вытянул у Байгузина признание в воровстве. «Ведь это, пожалуй, еще хуже, — думал он, — растрогать человека воспоминанием о доме, о матери, да потом сразу и прихлопнуть». Сейчас, слушая рыжего офицера, он особенно сильно ненавидел его неприятную, грязную бороду, его тяжелую, грубую фигуру, замасленные косички его волос, торчавших сзади из-под шапки. Этот человек, по-видимому, с удовольствием пришел на зрелище, виновником которого Козловский считал все-таки себя.

Батальонный командир вышел на середину батальона и, повернувшись задом к Байгузину, протяжно и резко закричал командные слова:

— Ша-ай! На кра-а...

Козловский выгнулся до половины из ножен шашку, вздрогнул, точно от холода, и потом уже все время не переставал дрожать мелкою нервной дрожью. Батальонный скользнул глазами по строю и отрывисто крикнул:

— ...ул!..

Четырехугольник шевельнулся, отчетливо бряцнул два раза ружьями и замер.

— Адъютант, прочтите приговор полкового суда, — произнес батальонный своим твердым, ясным голосом.

Адъютант вышел на середину. Он совсем не умел ездить верхом, но подражал походке кавалерийских офицеров, раскачиваясь на ходу и наклоняясь вперед корпусом при каждом шаге.

Он читал с неправильными ударениями, неразборчиво и растягивая без надобности слова:

— Полковой суд N-ского пехотного полка в составе председателя, подполковника N., и членов такого-то и такого-то...

Байгузин по-прежнему, понурясь, стоял между двумя конвойными и лишь изредка обводил безучастным взглядом ряды солдат. Видно было, что он ни слова не слышал из того, что читалось, да и вряд ли хорошо сознавал, за что его собираются наказывать. Один раз только он шевельнулся, потянул носом и утерся рукавом шинели.

Козловский также не вникал в смысл приговора и вдруг вздрогнул, услышав свою фамилию. Это было в том месте, где говорилось о его дознании. Он сразу испытал такое чувство, как будто бы все мгновенно повернули к нему головы и тотчас же отвернулись. Его сердце испуганно забилось. Но это ему только показалось, потому что, кроме него, фамилии никто не расслышал, и все одинаково равнодушно слушали, как адъютант однообразно и быстро отбарабанивал приговор. Адъютант кончил на том, что Байгузин приговаривается к наказанию розгами в размере ста ударов.

Батальонный командир скомандовал: «К ноге!» — и сделал знак головою доктору, который боязливо и вопросительно выглядывал из-за рядов. Доктор, молодой и серьезный человек, первый раз в жизни присутствовал при экзекуции. Теряясь и чувствуя себя точно связанным под сотнями уставленных на него глаз, он неловко вышел на середину батальона, бледный, с дрожащею нижнею челюстью. Когда Байгузину приказали раздеться, татарин не сразу понял, и только когда ему повторили еще раз и показали знаками, что надо сделать, он медленно, неумелыми движениями растегнул шинель и мундир. Доктор, избегая глядеть ему в глаза, с выражением безразличного ужаса на лице, выслушал сердце и пульс, и пожал в недоумении плечами. Он не заметил даже малейших следов обычного в этих случаях волнения. Очевидно было, что или Байгузин не понимал того, что с ним хотят делать, или его темный мозг и крепкие нервы не могли проникнуться ни стыдом, ни трусостью.

Доктор сказал несколько слов на ухо батальонному командиру и быстро, тем же неловким шагом ушел за строй. Откуда-то выскочили человек пять солдат и окружили Байгузина. Один из них, барабанщик, остался в стороне и, подняв кверху правую руку с палкой, глядел выжидательно на батальонного командира.

Татарин стал снимать шинель, но делал это очень медленно, так что выскочившие люди принуждены были помочь ему. Некоторое время он колебался, не зная, что делать с этой шинелью, наконец постлал ее аккуратно на землю и начал раздеваться. Тело у него было черное и до странного худое. У Козловского мелькнула мысль, что татарину, должно быть, очень холодно, и от этой мысли офицер задрожал еще сильнее.

Татарин стоял неподвижно. Хлопотавшие вокруг него солдаты стали ему показывать, что надо ложиться. Он медленно, неловко опустился на колени, касаясь руками земли, и лег на разостланную шинель. Один солдат, присев на корточки, стал держать его голову, другой сел ему на ноги.



Третий, унтер-офицер, стал в стороне, чтобы считать удары, и только в это время Козловский заметил, что на земле у ног остальных двух, которые стали по бокам Байгузина, лежали связки красных гибких прутьев.

Батальонный командир кивнул головою, и барабанщик громко и часто забил дробь. Два солдата, стоявшие по бокам Байгузина, нерешительно глядели друг на друга; ни один из них не хотел нанести первый удар. Унтер-офицер подошел к ним и что-то сказал... Тогда стоявший по правую сторону, стиснув зубы, сделал ожесточенное лицо, взмахнул быстро розгами и так же быстро опустил их, нагнувшись всем телом вперед. Козловский услышал отрывистый свист прутьев, глухой удар и голос унтер-офицера, крикнувшего: «Раз!» Татарин слабо, точно удивленно, вскрикнул. Унтер-офицер скомандовал: «Два!» Стоявший слева солдат так же быстро взмахнул розгами и нагнулся. Татарин опять закричал, на этот раз громче, и в голосе его отозвалось страдание истязуемого молодого тела.

Козловский поглядел на стоявших рядом с ним солдат. Их однообразные серые лица были так же неподвижны и безучастны, как всегда они бывают в строю. Ни сожаления, ни любопытства, — никакой мысли нельзя было прочесть на этих каменных лицах. Подпоручик все время дрожал от холода и волнения; всего мучительнее было для него — не крики Байгузина, не сознание своего участия в наказании, а именно то, что татарин и вины своей, как видно, не понял, и за что его бьют — не знает толком; он пришел на службу, наслышавшись еще дома про нее всяких ужасов, уже заранее готовый к строгости и несправедливости. Первым его движением после сурового приема, оказанного ему ротой, казармой и начальством, было — бежать к родным белебеевским нивам. Его поймали и засадили в карцер. Потом он взял эти голенища. Из каких побуждений взял, для какой надобности, он не сумел бы рассказать даже самому близкому человеку: отцу или матери. И сам Козловский не так мучился бы, если бы наказывали сознательного, расчетливого вора или даже хоть совсем невинного человека, но только бы способного чувствовать весь позор публичных побоев.

Сто ударов были отсчитаны, барабанщик перестал бить, и вокруг Байгузина опять закопошились те же солдатики. Когда татарин встал и начал неловко застегиваться, его глаза и глаза Козловского встретились, и опять, как и во время дознания, подпоручик почувствовал между собой и солдатом странную духовную связь.

Четырехугольник дрогнул, и его серые стены начали расходиться. Офицеры шли все вместе к казарменным воротам.

— Шо ж, — говорил рыжий офицер в капоте, деля руками широкие, несуразные жесты, — разве это называется выдрать? У нас в бурсе, когда драли, так раньше розги в уксусе выпаривали... От, дали б мне того татарина, я б ему показал эти голенища! А то не дерут, а щекочут.

У Козловского вдруг что-то зашумело в голове, а перед глазами поплыл красный туман. Он заступил дорогу рыжему офицеру и с дрожью в голосе, чувствуя себя в эту минуту смешным и еще больше раздражаясь от такого сознания, закричал визгливо:

— Вы уже сказали раз эту гадость и... и... не трудитесь повторять!.. Все, что вы говорите, бесчеловечно и гнусно!

Рыжий офицер, глядя сверху вниз на своего неожиданного врага, пожал плечами.

— Вы, верно, молодой человек, нездоровы? Чего вы ко мне прицепились?

— Чего? — закричал визгливо Козловский. — Чего?.. А того, что вы... что если вы сейчас же не замолчите...

Его уже тянули назад за руки встревоженные неожиданной ссорой офицеры, и он, вдруг закрыв лицо ладонями, разразился громкими рыданиями, сотрясаясь всем телом, точно плачущая женщина, и жестоко, до боли стыдясь своих слез...

1894

## СЛАВЯНСКАЯ ДУША

Чем дальше я углубляюсь памятью в прошлое и дохожу, наконец, до событий, сопровождавших мое детство, тем сбивчивее и недостовернее становятся мои воспоминания. Многое, вероятно, было мне рассказано впоследствии, в более сознательное время, теми, кто со вниманием и любовью наблюдал мои первые шаги; многого со мною и не было вовсе, а, слышанное или читанное когда-то, оно слишком тесно приросло к моей душе. Кто поручится, где в этих воспоминаниях кончается фактическая сторона, где начинается давнишняя, обратившаяся в привычную истину сказка и где, наконец, граница, на которой та и другая так причудливо мешаются?

Особенно ярко встает в моем воображении оригинальная фигура Яся и двух его товарищей — даже, скажу больше, друзей — на жизненном пути: Мацька — старого кавалерийского бракованного мерина — и дворовой собаки Бутона.

Ясь отличался серьезной медленностью в словах и поступках и всегда имел вид человека в самом себе сосредоточенного. Говорил он очень редко, взвешивая сказанное; речь свою старался сделать русской и только в минуты сильных душевных движений прорывался малорусскими ругательствами и целыми фразами. Благодаря платьям степенного покроя и темных цветов, благодаря торжественному, немного унылому выражению бритого лица со значительно поджатыми тонкими губами он производил впечатление дворового человека старого доброго времени.

Изо всего рода человеческого, кроме самого себя, Ясь, кажется, только моего отца и удостаивал своим уважением. К нам же, детям, к маменьке и ко всем, как своим, так и нашим знакомым, он относился хотя и почтительно, но с оттенком некоторого жалостливого и презрительного снисхождения. Из какого пункта воздвигалась его непомерная гордость — было всегда для меня загадкой. Бывает, что слуги с известною наглостью одеваются в часть того обаяния власти, которое исходит от их господ. Но отец мой, бедный доктор в еврейском местечке, жил так скромно и тихо, что уж никак не мог подать Ясю повода смотреть свысока на окружающее. Не было у Яся также ни одного из обыкновенных мотивов лакейской наглости: ни столичного лоска с иностранными словцами, ни самоуверенной неотражимости у окрестных горничных, ни сладкого искусства брэнчать на гитаре трогательные романсы, искусства, уже загубившего столько неопытных сердец. Свободные от занятий часы он проводил, лежа в полном бездействии на своем сундуке. Книг Ясь не только не читал, но искренно презирал их. Все прочитанное, кроме Библии, было, по его мнению, написано не по правде, а «вид себе», для того только, чтобы деньги выдуривать, а потому всякой книге Ясь предпочитал те свои длинные, тягучие мысли, которые он переворачивал во время долгого лежания на сундуке.

Мацька исключили из военной службы за многочисленные пороки, в числе которых самым главным была его старость, дошедшая до возмутительных размеров; кроме того, передние ноги были у него согнуты вследствие опоя и в местах соединения с туловищем украшались мешкообразны-

ми приростами, а задними он «петушил» на ходу благодаря старинному шпату. Голову с верблюдьим профилем, по старой военной привычке, он драл кверху, выставляя вперед острый кадык, и это, вместе с громадным ростом, необыкновенной худобой и отсутствием одного глаза, придавало ему вид воинственно-жалкий и комически-серьезный. Таких коней, задирающих на ходу голову вверх, зовут в полках «звездочетами».

Мацько со стороны Яся пользовался гораздо большим уважением, нежели Бутон, который иногда проявлял несвойственную своему возрасту легкомысленность. Это был один из тех больших длинношерстных и лохматых псов, которые отчасти напоминают крысоловку, увеличенную в десять раз, отчасти пуделя, а по природе суть самые породистые дворняжки. Дома Бутон отличался отменной серьезностью и рассудительностью во всех поступках, но на улице держал себя положительно неблагопристойно. Если он отправлялся с отцом, то не бежал скромно сзади экипажа, как это делают в подобных случаях порядочные псы. Он кидался на всех встречных лошадей, подпрыгивал с громким лаем к самым их мордам и только тогда пугливо отскакивал в сторону, если одна из них с тревожным храпом нагибала быстро шею, чтобы схватить зубами нахала. Он забирался в чужие дворы и через несколько секунд кубарем выкатывался оттуда, преследуемый десятками озлобленных собак. Он заводил, наконец, самые темные знакомства с псами, давно приобретшими низменную репутацию.

У нас в Подолии и на Воляни ничто человеку не сообщает такого шика, как выезд. Иной помещик давным-давно заложил и перезаложил имение и ждет со дня на день посещения судебного пристава, но если он в воскресенье едет «до свентего костела», то непременно в легком тарантасике, запряженном цугом четверьмя, а то и шестью прекрасными, горячими польскими лошадьми и, въезжая на главную площадь местечка, обязательно прикажет кучеру: «Паль с бича, Юзеф». Я уверен, однако, что ни одному из богатых окрестных панов не подавали с такой помпой его выезда, как это делал Ясь, когда отец собирался куда-нибудь. Во-первых, сам Ясь надевал высокий клеенчатый картуз с четырехугольным козырьком и широкий желтый пояс. Затем Мацько, запряженный в рессорный рыдван времен процветания Речи Посполитой, отводился шагов на сто от дома. Едва отец показывался на крыльце, Ясь торжественно палил с бича; Мацько некоторое время в раздумье вертел хвостом и потом трогался степенной рысцой, вскидывая и поднимая задние ноги высоко, как петух. Равняясь с крыльцом, Ясь делал вид, что с трудом сдерживает нетерпеливых лошадей, и изо всех сил вытягивал вперед руки с вожжами. Все его внимание было поглощено лошадьми, и, что бы ни произошло вокруг, Ясь не повернул бы головы. Вероятно, все это делалось для поддержания нашей фамильной чести.

Вообще о моем отце Ясь был чрезмерно высокого мнения. Случалось, что какому-нибудь бедному еврею или крестьянину приходилось дожидаться своей очереди в передней, пока отец занимался с другими больными. Ясь часто заводил с ним разговор, клонившийся единственно к расширению докторской популярности отца.

— Ты что думаешь? — спрашивал он, приняв на табуретке независимую позу и оглядывая с ног до головы почтительно стоявшего перед ним пациента. — Ты, может быть, думаешь, до волостного писаря пришел или до станowego? Мой пан, братику, не только повыше станowego, а главное самого исправника будет. Он, братику, все знает на свете. Вот как. У тебя что болит?

— У меня шо-сь у середке болить, — сконфуженно мялся больной, — и у грудях пече...

— Ну, вот видишь. А отчего? Чем ее пользоваться? Ты не знаешь, и я не знаю. А пан на тебя поглядит только, — так сейчас и скажет, чи ты будешь жив, чи помрешь.

Жил Ясь очень бережливо и все свои деньги употреблял на покупку разных хозяйственных вещиц, которые он бережно укладывал в своем большом сундуке, окованном жостью. Ничто нам, детям, не доставляло такого удовольствия, как позволение Яся присутствовать при переборке этих вещей. Изнутри крышка сундука была оклеена картинами самого разного образного содержания. Тут, рядом с грозными отечественными генералами в зеленых усах, помещались: и хождение души по мытарствам, и гравюра из «Нивы», изображающая этюд женской головки, и Соловей-разбойник на дубу, старательно раскрывающий правый глаз навстречу стреле Ильи Муромца. Затем из сундука последовательно выгружалась коллекция пиджаков, жилетов, полушубков, бараньих шапок, чашек и блюдецек, проволочных коробок, украшенных бисером и тафтяными цветочками, и маленьких круглых зеркалец. Нередко из бокового отделения сундука вынималось яблоко или пара маковников, которые для нас всегда казались особенно вкусными.

Ясь вообще был очень аккуратен и старателен. Однажды он разбил большой графин от воды, и отец сделал ему выговор. На другой день Ясь явился с двумя целыми графинами. «Все равно, может быть, я и еще разобью, — пояснил он, — а в доме все-таки не лишнее». В комнатах он сам завел и постоянно поддерживал образцовую чистоту. Он ревниво оберегал свои права и обязанности и был глубоко убежден, что никто не сумеет лучше его вычистить полов. Как-то между Ясем и новой горничной, Евкой, возник горячий спор, кончившийся состязанием на то, кто лучше и чище уберет комнаты. Мы были приглашены, как эксперты, и, из желания немного посердить Яся, отдали пальму первенства женщине. Мы, дети, по незнанию человеческой души, и не подозревали, какой удар нанесли Ясю своим жестоким решением. Он ушел, не сказав ни слова, и на другой день все в местечке стало известно, что Ясь запил.

Это случилось с ним приблизительно раз в два-три года и составляло как его, так и всей нашей семьи несчастье. Некому было ни нарубить дров, ни напоить лошадь, ни принести воды. Пять или шесть дней мы не видели Яся и не слыхали о нем. На седьмой день он явился без картуза и чемерки, страшный, растрепанный. За ним, шагах в тридцати, следовала галдящая толпа евреев. Мальчишки кричали и кривлялись. Все знали, что сейчас будет происходить аукцион.

Действительно, через минуту Ясь выбежал из дома на улицу, держа в руках почти все содержимое заветного сундучка. Толпа немедленно окружала его.

— Как? Вы мне водки не даете? — кричал Ясь, потрясая брюками и жилетами, нанизанными на руках. — Що? У меня денег нема? А это що? А це? А це? Це?

И в толпу одни за другими летели его одежды и подхватывались десятками хищных рук.

— Сколько даешь? — кричал Ясь какому-нибудь еврею, завладевшему пиджаком. — Сколько даешь, кобылячья твоя голова?

— Ну-у-у? Пятьдесят копеек я могу дать, — говорил еврей, прищуривая глаза.

— Пятьдесят? Пятьдесят?! — Отчаяние Яся доходило до крайних пределов. — Не хочу пятьдесят! Давай двадцать копеек! Давай злот! Это що?

Утиральники? Давай за все гривенник. Щоб вам очи повылазили! Щоб вас болячка задушила! Щоб вы маленькими булы здохлы!

Полиция в нашем местечке есть, но все ее обязанности заключаются в том, чтобы крестить у «хозяев» детей, и в подобных случаях она, не принимая никакого участия в беспорядке, играет скромную роль гостя без речей. Отец, видя расхищение Ясиного имущества, не выдерживал более своего гневного презрения (напился, мол, идиот, и пусть теперь разделяется) и самоотверженно кидался в галдящую толпу. Через секунду на сцене только и оставались: Ясь и отец, державший в руках какую-нибудь жалкую бритвенницу. Ясь несколько минут качался от изумления на месте, высоко и беспомощно подымая кверху брови, и вдруг грохался на колени.

— Пане! Пане мой коханий! Что ж ото воны мини здробили! Пане мой коханий!..

— Иди в сарай! — сердито приказывал отец и отталкивал от себя Яся, который хватал и целовал полы его сюртука. — Иди в сарай, проспись! И чтобы духу твоего завтра же здесь не было.

Ясь покорно отправлялся в сарай, и тогда для него начинались мучительные часы похмелья, отягченные и усугубленные муками раскаяния. Он лежал на животе, подперев голову ладонями и устремив глаза в одну точку перед собой. Он отлично знал, что теперь происходит дома. Ему ясно представлялось, как все мы просим у отца за Яся и как отец нетерпеливо отмахивается от нас руками. Ясь отлично знал, что уже на этот раз отец наверняка останется непреклонным.

Иногда, прислушиваясь из любопытства у дверей сарая, мы различали доносившиеся оттуда звуки, — странные звуки, похожие на рычание и всхлипывание.

В эти минуты падения и скорби Бутон считал своим нравственным долгом навестить страждущего Яся. Умный пес отлично понимал, что в обыкновенное, трезвое время Ясь не допустил бы с его стороны даже намека на фамильярные отношения. Поэтому всегда, встречаясь во дворе с суровым слугою, Бутон делал вид, будто бы он что-то внимательно разглядывает вдали, или озабоченно ловил ртом пролетающую муху. Одно обстоятельство меня всегда удивляло. Мы часто ласкали и порою кормили Бутона, вытаскивали у него из шерсти колючие репяхи, что он мужественно и безмолвно переносил, несмотря на очевидные страдания, даже целовали его в холодный, мокрый нос. И, однако, все симпатии и привязанности его целиком принадлежали Ясю, от которого он, кроме пинков, ничего не видел. Увы, теперь, когда жестокий опыт учит меня заглядывать во всем и наизнанку, я начинаю подозревать, что источник Бутоновой привязанности вовсе не был так загадочен; все-таки не мы, а Ясь приносил ежедневно Бутону миску послеобеденных остатков.

В мирное время, повторяю, Бутон ни за что не рискнул бы так непосредственно обратиться к чувствам Яся. Но в дни покаяния он смело заходил в сарай, садился рядом с лежащим Ясем и, глядя в угол, вздыхал глубоко и сочувственно. Если это не помогало, Бутон начинал лизать сначала робко, потом все смелее и смелее руки и лицо своего покровителя. Кончалось тем, что Ясь, рыдая, обхватывал Бутона за шею; Бутон принимался потихоньку подвывать ему, и вскоре они сливали свои голоса в странный, но трогательный дуэт.

На другой день Ясь являлся в комнаты чуть свет, мрачный и не смеющий поднять глаз. Полы и мебель доводил он до блистательной чистоты к приходу отца, при одной мысли о котором Ясь трепетал. Но отец оставался

неумолим. Он вручал Ясю паспорт и деньги и приказывал немедленно очистить кухню. Мольбы и клятвы оказывались тщетными.

Тогда Ясь решался на крайнее средство.

— Так, значит, кажете мне, пане, уходить? — спрашивал он дерзко.

— Да. И немедленно.

— Так вот не уйду же. Теперь вы гоните, а без меня пропадете все, как тараканы. Не пойду, тай годи!

— С полицией выведут.

— Выведут меня?.. — возмутился Ясь. — Ну и пусть выводят. Пусть весь город видит, что Ясь двадцать лет служил верой и правдой, а его за это при полиции в буцыгарню тянут. Пусть выводят. Не мне будет стыдно, а пану!

И действительно, Ясь оставался. Угрозы от него отскакивали без воздействия. Не обращая на них ни малейшего внимания, он работал без устали, работал преувеличенно много, стараясь наверстать потерянное время. Вечером он не шел спать в кухню, а ложился в стойле около Мащька, и конь всю ночь стоял, растопылив ноги и боясь переступить ими. Через несколько дней жизнь Яся вступала медленно в прежнее русло. Отец мой был добродушный и ленивый человек, которого совершенно подчиняли себе привычные условия, люди и вещи. К вечеру он прощал Яся.

Собою Ясь был красавец — брюнет украинского меланхолического типа. Девки и молодницы заглядывались на него, хотя ни одна, пробегая перепелкой по двору, не рисковала кокетливо ткнуть Яся в бок кулаком или вызывающе улыбнуться: слишком много в нем было надменного, ледяного презрения к прекрасному полу. И сладости семейного очага также мало прельщали его. «Как эта самая баба заведется в хате, — говорил брезгливо Ясь, — так сейчас воздух дурной пойдет». Впрочем, и то один только раз, он сделал попытку в этом направлении, причем ему суждено было удивить нас более, чем когда-либо.

Однажды, когда мы сидели за вечерним чаем, Ясь вошел в столовую совершенно трезвый, но с взволнованным лицом и, таинственно указывая через плечо большим пальцем правой руки на дверь, спросил шепотом:

— Можно «им» войти?

— Кто там такой? — спросил отец. — Пусть входит.

Мы все с ожиданием устремили глаза на дверь, из которой медленно выползло странное существо. Это была женщина лет пятидесяти с лишним, в лохмотьях, избитая и бессмысленная.

— Благословите нас, пане, вступить в брак, — сказал Ясь, опускаясь на колени. — Становись, дура, — крикнул он на женщину и потянул ее грубо за рукав.

Отец с трудом пришел в себя от изумления. Он долго и горячо толковал Ясю, что надо сойти с ума, чтобы жениться на такой твари. Ясь слушал молча, не вставая с колен; бессмысленная женщина также не поднималась.

— Так не велите, пане, жениться? — спросил наконец Ясь.

— Не только не велю, — отвечал отец, — но я уверен, что ты этого не сделаешь.

— Значит, так и будет, — сказал решительно Ясь. — Вставай, дура! — обратился он к женщине. — Слышишь, что пан говорит? Ну, и пошла вон!

И с этими словами, держа неожиданную гостью за шиворот, он быстро скрылся вместе с нею из столовой.

Это была единственная попытка Яся на брачном поприще. Объяснял ее себе каждый различно, но никто не шел дальше догадок, а когда спрашивали об этом у Яся, он только досадливо отмахивался руками.

Еще таинственнее и неожиданнее была его смерть. Она произошла так внезапно и загадочно и так мало имела, по-видимому, связи с предшествующими событиями Ясиной жизни, что, поставленный в необходимость рассказать о ней, я чувствую себя не совсем ловко. Но все-таки я ручаюсь, что все мною рассказанное не только в самом деле было, но даже не прикрашено для яркости впечатления ни одним лишним штрихом.

Однажды на вокзале, находящемся в трех верстах от местечка, повесился в уборной какой-то проезжий — хорошо одетый и не старый господин. Ясь в тот же день попросил у отца позволения пойти посмотреть.

Часа через четыре он вернулся, прямо прошел в гостиную, где в это время сидели гости, и остановился у притолоки. Он только два дня как отбыл срок своего покаяния в сарае и был совершенно трезв.

— Что тебе? — спросила маменька.

— Гы-ы-гы! — захохотал внезапно Ясь. — Язык-то у него наружу вылез... у пана...

Отец прогнал тотчас же его на кухню. Гости поговорили немного о странностях Яся и скоро позабыли об этом маленьком случае.

На другой день, проходя в восемь часов вечера мимо детской, Ясь подошел к моей сестренке и обнял ее.

— Прощай, доня, — сказал он и погладил ее по голове.

— Прощай, Ясь, — ответила сестра, не подымая головы от куклы.

Через полчаса к отцу в кабинет вбежала Евка, бледная, трясущаяся.

— Пане... там... на чердаке... зависився... Ясь.

И упала.

На чердаке висел на тонком шпагате мертвый Ясь. Когда следователь допрашивал кухарку, она показала, что в день смерти Ясь был очень странен.

— Станет он перед зеркалом, — рассказывала она, — сожмет себе горло руками, аж весь покраснеет, а сам язык высунет и глаза приплющит... Видно, все сам себе представлялся.

Так следователь и отнес причину смерти Яся к умственному расстройству.

Когда похоронили Яся в специальном для этого овраге за рошей, то на другой день не могли отыскать Бутона. Оказалось, что верный пес убежал на могилу и лежал там и выл, оплакивая смерть своего сурового друга. А потом исчез без вести.

Теперь, ставши почти стариком, я иногда перебираю свои пестрые воспоминания и, задерживаясь мыслью над Ясем, каждый раз думаю: какая странная душа, — верная, чистая, противоречивая, вздорная и больная, — настоящая славянская душа, жила в Ясином теле!

1894

## О ТОМ, КАК ПРОФЕССОР ЛЕОПАРДИ СТАВИЛ МНЕ ГОЛОС

Да-с, господа, поставить правильно голос — это не фунт изюму, и не баран начихал, и не кот наплакал, и не таракан... я уж не помню, что такое там наделал таракан. А я испытал, знаете, это удовольствие собственным животом, спиной и горлом.

Меня в это пагубное дело втравили, понимаете, мои знакомые, у которых я на маленьких семейных вечерах, так себе, кое-что пел: «Проведемте, друзья», «Нелюдимо», «Не искушай» — и другие домашние штуки. Вот они

мне и стали твердить в одну дудку: «У тебя голос, голос, голос. Смотри, теперь повсюду открываются голоса. Был себе обыкновенный адвокат, или письмоводитель, или булочник, или портной, или учитель чистописания, а глядь — открылся голос, — и он теперь тысячи загребает, и всемирная слава. Главное — надо вовремя голос поставить. Иди к профессору Леопарди. Он чудесно ставит голос. Первый мастер».

И вот я, знаете, пошел. Явился. Встречает меня сам профессор. Этакый, знаете, понимаете, мужественный итальянский старик, вершков девяти ростом, на голове грива, золотые очки, эспаньолка. Поговорили с ним о том, что искусство петь — великое искусство, что поставить голос — это не таракан и так далее и что в этом деле самое главное — терпение и прилежание.

Затем маэстро спрашивает меня:

— Итак, начнем?

— Начнем, профессор.

— Ви котов?

— Д-д-да!.. — отвечаю этак неуверенно.

— Завсем котов?

— Н-н-д-да...

— Испытаем сначала диафрагма. Держись!

Понимаете: не успел я моргнуть глазом, как он наносит мне зверский удар кулаком под ложечку. Что-то в животе у меня делает — уп!.. Разеваю рот — не могу вздохнуть. Сгибаюсь, знаете, пополам, сажусь на корточки. Вся комната плывет мимо меня в какой-то зеленой мути, а по ней вертятся огненные колеса.

Профессор приподымает меня, ласково треплет по плечу, дает стакан воды.

— Нишшево, mon ami<sup>1</sup>, нишшево, нишшево. О, совсем здоровый диафрагм. Другой ученик лежит на пол, как один кадавр<sup>2</sup>. Теперь открой немножко рот. Так. Еще немножко. О-о! Этих четыре зуб долой, прочь, совсем прочь. Гланды вырезать. Язык подрезать. Маленький язык немножко — чик.

Потом он, знаете, потащил меня к пианино.

— Теперь попробуем голос. Пой вот это: а-а-а-а, а-а-а-а.

Ну, я, конечно: а-а-а-а, а-а-а-а.

— Не так, не так. Твой поет, как коров. Пой еще один раз.

Я, понимаете, на него вовсе не обижался, что он мне тыкал. Я, знаете, заранее слышал, что он всем любимым ученикам говорит на «ты». А если на «вы», то, значит, никакой нет надежды.

— Пой еще один раз.

Пою.

— О, черт побери, у тебя ни кож, ни рож, ни voix<sup>3</sup>. Упирай звук на диафрагм. Пой так, как будто у тебя живот болит.

Пою.

— Не так, не так! Служитель, принесите один полотенц.

Приходит служитель. Понимаете, этакая суровая, небритая фигура, вроде сторожа из анатомического театра, на лице мрак и отчаянная решимость. Меня обвивают вокруг талии полотенцем, профессор берется за

<sup>1</sup> мой друг (франц.).

<sup>2</sup> труп (от лат. cadaver).

<sup>3</sup> голоса (франц.).



один конец, служитель за другой, оба упираются ногами мне в бедра и тянут каждый в свою сторону.

— Пой, — кричит профессор. — Глубже звук, ниже, ниже. На диафрагм.

Кровь бросается мне в голову. Я чувствую, как краснею, потом сиңею, глаза у меня выкатываются наружу, и наконец я хриплю, как удавленник.

— О-о! Я так и знал. Тенор ди-грация. Теперь попробуем свободный звук. Высунь ваш язык.

Я, знаете, повинуюсь. Профессор тем же самым полотенцем обвертывает крепко мой язык и вытягивает его наружу, до соприкосновения с верхней пуговицей жилета.

— Пой! Э-э-э-э, э-э-э-э...

Пою. Понимаете, кашляю, давлуюсь, но пою, пою.

— Теперь развяжем немножко челюсти. Открой рот.

Открываю. Он захватывает рукой, как тисками, мою нижнюю челюсть и начинает махать ею вверх и вниз, точно действуя насосом.

— Пой! Бэ-бэ-бэ-бэ, бэ-бэ-бэ-бэ.

Потом он велит мне лечь на пол и говорит:

— Испытаем дыхание. Держи одну ноту... Вот эту — фа! Держи прямо, как один паровоз: уууу.

Тогда, знаете, он кладет мне на грудь огромную книжищу, на нее другую, третью, четвертую, пятую, шестую.

— Тяни: уууу.

— Уууу.

Тогда он, понимаете, поверх книг заваливает меня чемоданами, ящиками, подушками с дивана и, сверх всего этого, садится сам, своею персоною.

Я не выдерживаю и прошу пощады.

Профессор, по-видимому, доволен мною, потому что, знаете, этак потирает руки.

— Теперь последний экзамен. Вот венский стул. Полезай под стул и садись там.

— Но, профессор, это невозможно...

— Мольшать! Если ты сумеешь петь, сидя под стулом, ты сумеешь петь во всякой другой position<sup>1</sup>.

Понимаете, никто не верит этому, когда я рассказываю, но, ей-богу, я умудрился залезть под обыкновенный венский стул и сесть там, скорчившись в три погребели, а профессор сел сверху, на сиденье, и крикнул мне:

— Пой!

— Что именно петь, маэстро?

— Что хочешь... Все, что хочешь: арию, дуэт, квартет... Пой до тех пор, пока я не окончу курить мой сигар.

И вот он, знаете, закуривает огромную австрийскую сигару, а я начинаю петь, сидя в таком же положении, как сидит музейный недоношенный младенец в банке со спиртом. Я пою весь первый акт из «Фауста», эпиталаму из «Нерона», пролог из «Паяцев», куплеты Тореадора, «Вечернюю звезду» из «Тангейзера»... Он все курит... Тогда я, знаете, говорю этак робко:

— Не могу больше, маэстро.

Тогда он встает, приподнимает стул и дает мне такой пинок ниже спины, что я, понимаете, чрезвычайно долго скольжу в сидячем положении по

<sup>1</sup> положение (франц.).

паркету, пока не упираюсь головой в трюмо. Наконец в недоумении становлюсь на ноги и лепечу:

— Профессор...

— Да, профессор, черт вас побери, профессор! — кричит он, и на этот раз кричит чисто по-русски, без малейшего акцента. — Но только профессор вовсе не вашего дурацкого пения, а профессор атлетики, бокса, плавания и фехтования, имеющий глубокое несчастье быть однофамильцем вашего итальянского шарлатана. И так как ко мне ежедневно, благодаря этому несчастью, с утра до вечера, ломятся вот такие козлетоны, как вы, то я твердо решил проучить хотя одного из этих идиотов. Вы можете, милостивый государь, жаловаться на меня куда угодно или можете вызвать меня драться на любом оружии, начиная от пулемета и кончая французским боксом, включая сюда палки, рапиры и джиу-джитсу. Но теперь — вон отсюда!

Понимаете, что мне оставалось делать?

И я, знаете, пожал презрительно плечами и ушел.

1894

## АЛЬ-ИССА

### *Легенда*

За несколько веков до Рождества Христова в самом центре Индостана существовал сильный, хотя и немногочисленный народ. Имя его изгладилось в истории, даже священные Веды не упоминают о нем ни одной строчкой. Но старые факиры, ревностные хранители преданий, говорят, что родоначальники этого народа, суровые и бесстрашные люди, пришли с далекого Запада и в короткое время покорили своей власти весь Индостан. Все раджи и князья Индостана платили им дань, а пленные рабы обрабатывали их землю. Они не знали ни роскоши, ни страха смерти, и это делало их непобедимыми.

Этот могущественный народ поклонялся живому существу — женщине, которая называлась богиней смерти. Богиню смерти никто никогда не видал, кроме двух старейших жрецов. Они же и выбирали ее тайно изо всех красивейших девочек, не достигших еще четырехлетнего возраста, воспитывали ее и чудесными, одним им открытыми способами доводили ее красоту до сверхъестественного совершенства. Когда умирала одна богиня смерти, на место ее двое жрецов взводили тотчас же другую, но об этом знали только они. Народ верил, что богиня — бессмертна и красота ее невыдаема.

Раз в пять лет, ночью, она выезжала из своего храма на гигантской колеснице, закрытой со всех сторон и запряженной десятью белыми слонами. Ее встречал весь народ с пением священных гимнов, с зажженными факелами в руках. Восторг толпы доходил до бешенства. Рубили головы сотням рабов, многие истязали себя бичами и кривыми кинжалами, в исступлении бросались под колесницу богини, чтобы быть раздавленными слонами и колесами...

В одну из таких ночей жрецами и народом избирался для богини смерти муж. Только двенадцать часов был он ее мужем. Утром его на костре торжественно приносили в жертву, потому что всякий, кто хоть раз увидел лицо богини, по законам подлежал немедленной смерти. И несмотря на это, каждые пять лет двенадцать славнейших юношей обрекали себя на

служение страшной богине. Их ожидали такие тяжелые испытания, что предание насчитывает только четырех героев, удостоенных величайшей чести — умереть мужем богини смерти.

Аль-Исса был сыном знатного раджи. Пятнадцати лет он уже превосходил всех молодых людей смелостью, силой и красотой. Самая знатная и гордая красавица Индии сочла бы счастьем назваться его женой. Но Аль-Исса посвятил себя богине смерти.

Он должен был отказаться от семьи. Прикосновение к женщине считалось для него преступлением. Во всю жизнь он не смел ни улыбнуться, ни запеть песни... Война и атлетические упражнения были его единственными занятиями.

И Аль-Исса выдержал тяжелый искуc. Слезы матери и сестер не тронули его, когда он уходил из своего роскошного дворца. При встречах с женщинами он опускал глаза и далеко обходил лучших красавиц... Никто никогда не видал его смеющимся или преданным праздному разговору.

Зато скоро имя его стало приводить в ужас самых воинственных соседей. Без панциря, в одной легкой белоснежной одежде, он кидался в самую густую толпу неприятелей. Туловища, рассеченные от плеча к бедру, отрубленные головы, руки и ноги указывали его путь. Встреча с ним была неминуемой смертью, и закаленные враги бежали перед ним, как стада овец, с криками: «Аль-Исса! Аль-Исса!..»

Если не было войны, он проводил время на охоте за дикими кабанами и тиграми. Вода из лесного ручья и кусок хлеба служили ему пищей, седло — изголовьем.

Наконец, через три пятилетия, в один из тех дней, когда выезжала на колеснице богиня смерти, глашатаи объявили народу имя Аль-Исса.

Несметная толпа еще с утра стекалась на огороженную стеною площадь перед храмом, где Аль-Исса ожидали последние испытания. Его имя было у всех на устах. Все знали, что сама богиня смерти, не видимая никем, смотрит теперь из тайной амбразуры храма на площадь.

Отмерили расстояние в двести локтей, вбили в землю щит с пятью воткнутыми в него стрелами и дали Аль-Исса громадный лук... И Аль-Исса при громких криках восторга расщепил своими пятью стрелами пять стрел на щите.

Потом вооружили Аль-Исса кривым кинжалом и на площадь выпустили голодного, разъяренного бенгальского тигра.

Аль-Исса на глазах всего народа, истерзанный страшными когтями, обливаясь кровью, перерезал горло свирепому хищнику и наступил ногой на его труп...

Наконец толпа расступилась, и Аль-Исса подвели злого варварийского жеребца. Дикий, черный, с пламенными ноздрями, он еще никогда не носил на своей спине оскорбительного бремени. Шестеро конюхов едва удерживали его. Он злобно визжал, водил вокруг огненными глазами и дрожал своей атласной кожей.

Аль-Исса спокойно подошел к нему и взялся за холку. Конюхи разбежались. Народ в ужасе и смятении бросился в стороны... В один миг Аль-Исса уже сидел на коне. Сначала гордое животное только тряслось от злобы и оскорбления... Через минуту конь и всадник скрылись из глаз народа.

Прошел целый час томительного ожидания, когда наконец вдали показался Аль-Исса на взмыленном и покрытом пылью коне. Варварийский жеребец шатался от усталости, но был послушен Аль-Исса, как ручная овечка.

Испытания Аль-Исса кончились.

В полночь его, одетого в драгоценные одежды, умащенного ароматами Востока, отвели в храм и оставили одного. Он слышал на улицах рев народа, все более и более приближающийся к храму. Это богиня объезжала город на своей колеснице, запряженной белыми слонами.

Потом в храм вошли два верховных жреца — столетние старцы с волосами белыми, как снег. Жрецы опустили перед Аль-Исса на колени, облобызали его ноги и потом, взявши за руки, повели в святилище. Там среди фантастической восточной роскоши возвышалось золотое ложе... Курильницы благоухали ароматами Аравии и Персии... причудливые фонари лили волшебный свет... в золотых клетках качались пестрые священные птицы, шелковые ткани тяжелыми складками одевали стены...

Жрецы безмолвно удалились, закрыв лица руками. Аль-Исса ожидало блаженство и через двенадцать часов — мучительная смерть.

Где-то далеко за стеной раздалось нежное и сладостное пение женского хора. Массивные двери слоновой кости распахнулись... и медленно вошла сама богиня смерти в длинных белых одеждах, окутанная покрывалом.

Аль-Исса кинулся к ней, дрожащими руками распахнул легкую ткань, закрывавшую лицо, и окаменел от ужаса и изумления...

Перед ним стояла дряхлая старуха, сморщенная, беззубая, со слезящимися глазами и потухшим взором.

*1894*

## КУСТ СИРЕНИ

Николай Евграфович Алмазов едва дождался, пока жена отворила ему двери, и, не снимая пальто, в фуражке прошел в свой кабинет. Жена, как только увидела его насупившееся лицо со сдвинутыми бровями и нервно закушенной нижней губой, в ту же минуту поняла, что произошло очень большое несчастье... Она молча пошла следом за мужем. В кабинете Алмазов простоял с минуту на одном месте, глядя куда-то в угол. Потом он выпустил из рук портфель, который упал на пол и раскрылся, а сам бросился в кресло, злобно хрустнув сложенными вместе пальцами...

Алмазов, молодой небогатый офицер, слушал лекции в Академии генерального штаба и теперь только что вернулся оттуда. Он сегодня представлял профессору последнюю и самую трудную практическую работу — инструментальную съемку местности...

До сих пор все экзамены сошли благополучно, и только одному богу да жене Алмазова было известно, каких страшных трудов они стоили... Начать с того, что самое поступление в академию казалось сначала невозможным. Два года подряд Алмазов торжественно проваливался и только на третий упорным трудом одолел все препятствия. Не будь жены, он, может быть, не найдя в себе достаточно энергии, махнул бы на все рукою. Но Верочка не давала ему падать духом и постоянно поддерживала в нем бодрость... Она приучилась встречать каждую неудачу с ясным, почти веселым лицом. Она отказывала себе во всем необходимым, чтобы создать для мужа хотя и дешевый, но все-таки необходимый для занятого головной работой человека комфорт. Она бывала, по мере необходимости, его переписчицей, чертежницей, тщицей, репетиторшей и памятной книжкой.

Прошло минут пять тяжелого молчания, тоскливо нарушаемого хрым ходом будильника, давно знакомым и надоевшим: раз, два, три-три: два чистых удара, третий с хриплым перебоем. Алмазов сидел, не снимая пальто и шапки и отворотившись в сторону... Вера стояла в двух шагах от

него также молча, с страданием на красивом, нервном лице. Наконец она заговорила первая, с той осторожностью, с которой говорят только женщины у кровати близкого труднобольного человека...

— Коля, ну как же твоя работа?.. Плохо?

Он передернул плечами и не отвечал.

— Коля, забраковали твой план? Ты скажи, все равно ведь вместе обсудим.

Алмазов быстро повернулся к жене и заговорил горячо и раздраженно, как обыкновенно говорят, высказывая долго сдержанную обиду.

— Ну да, ну да, забраковали, если уж тебе так хочется знать. Неужели сама не видишь? Все к черту пошло!.. Всю эту дрянь, — и он злобно ткнул ногой портфель с чертежами, — всю эту дрянь хоть в печку выбрасывай теперь! Вот тебе и академия! Через месяц опять в полк, да еще с позором, с треском. И это из-за какого-то поганого пятна... О, черт!

— Какое пятно, Коля? Я ничего не понимаю.

Она села на ручку кресла и обвила рукой шею Алмазова. Он не сопротивлялся, но продолжал смотреть в угол с обиженным выражением.

— Какое же пятно, Коля? — спросила она еще раз.

— Ах, ну, обыкновенное пятно, зеленой краской. Ты ведь знаешь, я вчера до трех часов не ложился, нужно было окончить. План прекрасно вычерчен и иллюминирован. Это все говорят.. Ну, засиделся я вчера, устал, руки начали дрожать — и посадил пятно... Да еще густое такое пятно... жирное. Стал подчищать и еще больше размазал. Думал я, думал, что теперь из него сделать, да и решил кучу деревьев на том месте изобразить... Очень удачно вышло, и разобрать нельзя, что пятно было. Приношу нынче профессору. «Так, так, н-да. А откуда у вас здесь, поручик, кусты взялись?» Мне бы нужно было так и рассказать, как все было. Ну, может быть, засмеялся бы только... Впрочем, нет, не рассмеется, — аккуратный такой немец, педагог. Я и говорю ему: «Здесь действительно кусты растут». А он говорит: «Нет, я эту местность знаю, как свои пять пальцев, и здесь кустов быть не может». Слово за слово, у нас с ним завязался крупный разговор. А тут еще много наших офицеров было. «Если вы так утверждаете, говорит, что на этой седловине есть кусты, то извольте завтра же ехать туда со мной верхом... Я вам докажу, что вы или небрежно работали, или счертили прямо с трехверстной карты...»

— Но почему же он так уверенно говорит, что там нет кустов?

— Ах, господи, почему? Какие ты, ей-богу, детские вопросы задаешь. Да потому, что он вот уже двадцать лет местность эту знает лучше, чем свою спальню. Самый безобразнейший педагог, какие только есть на свете, да еще немец вдобавок... Ну и окажется в конце концов, что я лгу и в преппирательство вступаю... Кроме того...

Во все время разговора он вытаскивал из стоявшей перед ним пепельницы горелые спички и ломал их на мелкие кусочки, а когда замолчал, то с озлоблением швырнул их на пол. Видно было, что этому сильному человеку хочется заплакать.

Муж и жена долго сидели в тяжелом раздумье, не произнося ни слова. Но вдруг Верочка энергичным движением вскочила с кресла.

— Слушай, Коля, нам надо сию минуту ехать! Одевайся скорей.

Николай Евграфович весь сморщился, точно от невыносимой физической боли.

— Ах, не говори, Вера, глупостей. Неужели ты думаешь, я поеду оправдываться и извиняться. Это значит над собой прямо приговор подписать. Не делай, пожалуйста, глупостей.

— Нет, не глупости, — возразила Вера, топнув ногой. — Никто тебя не заставляет ехать с извинением... А просто, если там нет таких дурацких кустов, то их надо посадить сейчас же.

— Посадить?.. Кусты?.. — вытаращил глаза Николай Евграфович.

— Да, посадить. Если уж сказал раз неправду, — надо поправлять. Собирайся, дай мне шляпку... Кофточку... Не здесь ищешь, посмотри в шкапу... Зонтик!

Пока Алмазов, пробовавший было возражать, но невыслушанный, отыскивал шляпку и кофточку, Вера быстро выдвигала ящики столов и комодов, вытаскивала корзины и коробочки, раскрывала их и разбрасывала по полу.

— Сergy... Ну, это пустяки... За них ничего не дадут... А вот это кольцо с солитером дорожное... Надо непременно выкупить... Жаль будет, если пропадет. Браслет... тоже дадут очень мало. Старинный и погнутый... Где твой серебряный портсигар, Коля?

Через пять минут все драгоценности были уложены в ридикюль. Вера, уже одетая, последний раз оглядывалась кругом, чтобы удостовериться, не забыто ли что-нибудь дома.

— Едем, — сказал она наконец решительно.

— Но куда же мы поедem? — пробовал протестовать Алмазов. — Сейчас темно станет, а до моего участка почти десять верст.

— Глупости... Едем!

Раньше всего Алмазовы заехали в ломбард. Видно было, что оценщик так давно привык к ежедневным зрелищам человеческих несчастий, что они вовсе не трогали его. Он так методично и долго рассматривал привезенные вещи, что Верочка начинала уже выходить из себя. Особенно обидел он ее тем, что попробовал кольцо с брильянтом кислотой и, взвесив, оценил его в три рубля.

— Да ведь это настоящий брильянт, — возмущалась Вера, — он стоит тридцать семь рублей, и то по случаю.

Оценщик с видом усталого равнодушия закрыл глаза.

— Нам это все равно-с, сударыня. Мы камней вовсе не принимаем, — сказал он, бросая на чашечку весов следующую вещь, — мы оцениваем только металлы-с.

Зато старинный и погнутый браслет, совершенно неожиданно для Веры, был оценен очень дорого. В общем, однако, набралось около двадцати трех рублей. Этой суммой было более чем достаточно.

Когда Алмазовы приехали к садовнику, белая петербургская ночь уже разлилась по небу и в воздухе синим молоком. Садовник, чех, маленький старичок в золотых очках, только что садился со своей семьей за ужин. Он был очень изумлен и недоволен поздним появлением заказчиков и их необычной просьбой. Вероятно, он заподозрил какую-нибудь мистификацию и на Верочкины настойчивые просьбы отвечал очень сухо:

— Извините. Но я ночью не могу посылать в такую даль рабочих. Если вам угодно будет завтра утром — то я к вашим услугам.

Тогда оставалось только одно средство: рассказать садовнику подробно всю историю с злополучным пятном, и Верочка так и сделала. Садовник слушал сначала недоверчиво, почти враждебно, но когда Вера дошла до того, как у нее возникла мысль посадить куст, он сделался внимательнее и несколько раз сочувственно улыбался.

— Ну, делать нечего, — согласился садовник, когда Вера кончила рассказывать, — скажите, какие вам можно будет посадить кусты?

Однако из всех пород, какие были у садовника, ни одна не оказывалась подходящей: волей-неволей пришлось остановиться на кустах сирени.

Напрасно Алмазов уговаривал жену отправиться домой. Она поехала вместе с мужем за город, все время, пока сажали кусты, горячо суетилась и мешала рабочим и только тогда согласилась ехать домой, когда удостоверилась, что дерн около кустов совершенно нельзя отличить от травы, покрывавшей всю седловинку.

На другой день Вера никак не могла усидеть дома и вышла встретить мужа на улицу. Она еще издали, по одной только живой и немного подпрыгивающей походке, узнала, что история с кустами кончилась благополучно... Действительно, Алмазов был весь в пыли и едва держался на ногах от усталости и голода, но лицо его сияло торжеством одержанной победы.

— Хорошо! Прекрасно! — крикнул он еще за десять шагов в ответ на тревожное выражение женина лица. — Представь себе, приехали мы с ним к этим кустам. Уж глядел он на них, глядел, даже листочек сорвал и пожевал. «Что это за дерево?» — спрашивает. Я говорю: «Не знаю, ваше-ство». — «Березка, должно быть?» — говорит. Я отвечаю: «Должно быть, березка, ваше-ство». Тогда он повернулся ко мне и руку даже протянул. «Извините, говорит, меня, поручик. Должно быть, я стареть начинаю, коли забыл про эти кустики». Славный он, профессор, и умница такой. Право, мне жаль, что я его обманул. Один из лучших профессоров у нас. Знания — просто чудовищные. И какая быстрота и точность в оценке местности — удивительно!

Но Вере было мало того, что он рассказал. Она заставляла его еще и еще раз передавать ей в подробностях весь разговор с профессором. Она интересовалась самыми мельчайшими деталями: какое было выражение лица у профессора, каким тоном он говорил про свою старость, что чувствовал при этом сам Коля...

И они шли домой так, как будто бы, кроме них, никого на улице не было: держась за руки и беспрестанно смеясь. Прохожие с недоумением останавливались, чтобы еще раз взглянуть на эту странную парочку...

Николай Евграфович никогда с таким аппетитом не обедал, как в этот день... После обеда, когда Вера принесла Алмазову в кабинет стакан чаю, — муж и жена вдруг одновременно засмеялись и поглядели друг на друга.

— Ты — чему? — спросила Вера.

— А ты чему?

— Нет, ты говори первый, а я потом.

— Да так, глупости. Вспомнилась вся эта история с сиренью. А ты?

— Я тоже глупости, и тоже — про сирень. Я хотела сказать, что сирень теперь будет навсегда моим любимым цветком...

1894

## НЕГЛАСНАЯ РЕВИЗИЯ

Иван Петрович был еще сравнительно молод, но уже в достаточной степени строг и справедлив. Всегда безукоризненно и солидно одетый, с серьезным лицом, украшенным модною бородкой-клинушкой, с бесстрастным взглядом холодных глаз, с почтительной, хотя и твердой речью — он был гордостью начальства, надеждою всего департамента.

Этому многообещающему молодому человеку недоставало только эффектного случая, чтобы окончательно завоевать будущее, но так как он на-

ходился под особенным покровительством судьбы, то и случай не замедлил представиться. Его превосходительство пришел однажды в департамент мрачнее тучи и быстрыми шагами проследовал в кабинет, таинственно кивнув по дороге головою Ивану Петровичу.

Иван Петрович вошел твердой поступью, с приятным и открытым видом, исполненным немедленной готовности. Начальство обвило его рукою за талию и полудружески, полупокровительственно увлекло в амбразуру окна. Здесь оно с расстановкой надело пенсне, приподняло вверх брови, сделало нижней губой значительную мину и взяло двумя пальцами пуговицу сюртука своего подчиненного. Все эти признаки, ничего не значащие в глазах непосвященного, предвещали, однако же, что разговор примет несколько таинственный характер.

— ... Мм... Видите ли, голубчик, — произнес генерал внушительным тоном, — вам предстоит очень серьезное поручение... Пусть оно будет вашим, так сказать, э... как это называется?.. Ну, подводным камнем, что ли?

Иван Петрович понял настоящую мысль своего начальника и молча поклонился.

— Получил я на днях анонимное письмо. Извольте взглянуть... Раскрывают злоупотребления... Вы понимаете, каково наше положение? С одной стороны, нельзя без внимания оставить, но ведь и гласности предать невозможно. А? Напишешь, да потом и сам не рад будешь, как всякая гадость на свет Божий полезет. Вы понимаете, в этом деле так, с бухты-барахты нельзя ведь; нужно уметь... э... как это называется?..

— Лавировать, ваше-ство?

— Именно, именно... Вот вы и поезжайте... Не то чтобы официально, а, так сказать, негласным образом... Ну, да вы сами знаете, как там... Письмецо это с собой захватите на всякий случай!.. В нем довольно обстоятельно все изложено...

Иван Петрович поехал. Путешествие было продолжительное, и он имел довольно времени, чтобы обдумать план предстоящих действий. В душе он очень одобрял начальство за то, что оно именно ему, а не кому другому, поручило это щекотливое дело. Это не докладную какую-нибудь составить: приходится лавировать между оглаской и правосудием. Иван Петрович в подобных случаях незаменим (по правде сказать, это был первый случай в его жизни, потому что он очень недавно вышел из одного привилегированного заведения). Он наблюдателен и неподкупен. В сущности, ведь каждого человека подкупить легко: иного разжалобишь тем, что прикинешься дурачком, другого смягчишь обедом и партией винта, третьего собьешь с толку апломбом. Иван Петрович неподкупен. Он сдержан, сух, отлично знает человеческую натуру, и его провести не так-то легко. Ему, конечно, нет никакого дела до этого Персюкова, который не показывал к зачету какие-то там переходящие суммы; главное — восстановить нарушенную идею справедливости и порядок.

Правда, в предстоящем деле придется проверять какие-то книги и суммы. Это тоже неприятная сторона поручения. Иван Петрович слышал, что есть на свете двойная и итальянская бухгалтерия, слышал также, что слово «транспорт» пишется внизу страницы и подчеркивается толстой чертой, но дальше его сведения по этой части не простирались. И разве это так уже важно? Совсем нет. Нужно только суметь сразу взять этого таинственного незнакомца, Персюкова, в руки, ошеломить его сухостью, величественным беспристрастием, и он сам покажет, что нужно. Что ни говорите, а знание людей — громадное преимущество в руках того, кто им умеет пользоваться.



Таким образом, первые сутки дороги Иван Петрович был только справедливым, но на вторые благодаря тряске и утомлению он стал и озлоблен. Неизвестный Персюков сделался его личным врагом, подлежащим немедленному и самому жестокому распекаанию.

Наконец поезд остановился. Иван Петрович взял свой изяшный чемоданчик (он не любил тратиться на то, что мог сделать сам), надел пенсне и, изобразив на лице совершенно такую же значительную мину, какую он привык видеть ежедневно на лице своего генерала, вышел на платформу.

Он не успел еще пройти десяти шагов, когда за ним послышался чей-то голос:

— Если не ошибаюсь, Иван Петрович?

И удивленный Иван Петрович не успел обернуться, как тот же голос продолжал:

— Имею честь представиться: Персюков.

Голос был сладкий, умиленный и в то же время и решительный. Иван Петрович увидал перед собою грузную, мужественно нескладную фигуру и квадратное лицо, украшенное носом в самом отечественном стиле — в виде хорошего картофеля. Толстые губы складывались в заискивающую улыбку, а глаза смотрели из-под нависших верхних век умно и пытливо.

— Не узнаете меня? — продолжал между тем Персюков, завладев рукою Ивана Петровича и горячо пожимая ее. — А ведь мы с вами однажды в Петербурге встретились.

— Извините, пожалуйста, но я положительно не помню...

— Ах, как же это? Молодой человек, а память вам изменяет! Я имел удовольствие встретить вас если не у Трухачевых, то, уже во всяком случае, у Протопоповых.

Хотя «*молодой человек*» порядком покоробил Ивана Петровича, но на всякий случай он счел не лишним изобразить на своем лице нечто вроде приятного изумления. «Черт его знает, может быть, и в самом деле встречались».

Натиск, произведенный на него врагом, был так неожидан, так не согласовался со всеми теоретическими правилами ведения войны, что Иван Петрович был быстро сбит с точки. Инициативой действия и нравственным верхом самовольно завладел, и, надо сознаться, завладел довольно грубо, предприимчивый Персюков.

Долговязый малый в синем казакине со шнурами и лампасами принял из рук Ивана Петровича его багаж, а через две минуты и сам Иван Петрович сидел рядом с Персюковым в легких санках, которые мчала пара великоколенных серых рысаков, покрытых синей сеткой.

Персюков заливался соловьем; оказывается, что он выехал на вокзал нынче совершенно случайно, «проветриться». Он очень рад, что имеет возможность избавить уважаемого Ивана Петровича от неприятной необходимости мерзнуть на почтовых.

Уважаемый Иван Петрович больше молчал. Его всегда несколько тошнило от быстрой езды. Он кутался в поднятый воротник пальто и внутренне пилил себя. Во-первых, на приветствие Персюкова ему следовало ответить как можно суше и уже ни под каким видом руки не подавать. Во-вторых, он недоумевал, каким образом все это так быстро случилось и у него не нашлось ни одного слова, чтобы «*осадить*» и «*обрезать*». В нежном тоне и в любезных манерах Персюкова было что-то до того уверенное и определенное, что ему сопротивляться было положительно невозможно. Иван Петрович махнул рукой и предал себя мысленно судьбе.

Кучер сдержал великолепных рысаков перед домом Персюкова. Дом был небольшой, очень скромный, без претензии на шик, но, видимо, построенный согласно с требованиями разумного и долговечного комфорта, как строились в старое доброе время барские дома.

Персюкова внезапно осенила счастливая мысль.

— Знаете что, — обратился он трогательно умильным голосом к Ивану Петровичу, — может быть, вы у меня немного передохнете после дороги?..

— Нет, нет, покорнейше вас благодарю, — энергично запротестовал Иван Петрович, — мне никак нельзя... у меня там... дела разные.

Это была последняя его попытка заявить свою самостоятельность. Персюков так сладко и так решительно настаивал, что опять пришлось подчиниться. Несмотря на все отказы и извинения, Иван Петрович был почти снят с саней и введен в дом, причем его поддерживали под локти: с одной стороны хозяин, а с другой — долговязый малый в синем казакине, несший чемодан.

— Милости прошу в мою берлогу, — сказал Персюков, введя своего гостя в небольшую, уютную комнату. — Вы на меня не будете в претензии, если я вас на одну минуточку оставлю?

Он вышел. Оставшись один, Иван Петрович внимательно оглядел «берлогу». Комната была оставлена умело и со вкусом и, как видно, с большими средствами. Дорогая мебель красного дерева, обилие редких растений, несколько приличных масляных картин придавали ей солидный тон.

Иван Петрович теперь начинал сознавать, что преувеличенная любезность Персюкова, продолжительное его отсутствие — словом, все клонится к тому, чтобы окончить дело обедом. Положим, он мог этого избежать: стоит только взять шапку и уйти. Но раз уже сделан целый ряд ошибок — одна лишняя вовсе не имеет особенного значения. Это рассуждение тем более успокаивало Ивана Петровича, что он начинал уже чувствовать порядочный голод. Он бы, пожалуй, и совсем успокоился, если бы его не мучил трудно разрешимый вопрос: действительно ли приехал Персюков на вокзал случайно, или его кто-нибудь раньше уведомили?..

Через несколько минут показался в дверях хозяин в сопровождении высокой пышной брюнетки.

— Позвольте вас познакомить с моей женой...

Иван Петрович поклонился так, как всегда кланялся с дамами: одной головой, не сгибая спины. Этот поклон выходил очень красиво у одного знакомого ему кавалергарда.

— Мне при первом же знакомстве приходится перед вами извиниться, — сказал он с обычной ему в этих случаях серьезной вежливостью. — Я только что с дороги...

— И вам совсем не в чем извиняться, — возразила она. — По-моему, чем проще, тем лучше. Помните только, что вы не в Петербурге, а в гостеприимной провинции...

Она засмеялась. Голос у нее был грудной, низкий, очень приятный, а смех звучный и заразительный, но без всякой вульгарности. Перебрасываясь незначительными фразами с Иваном Петровичем, она не спускала с него глаз, и по этому взгляду, любопытному и приветливому, немного ласкающему, он заключил, что произведенное им впечатление было самое благоприятное.

Между тем исчезающий поминутно Персюков опять появился в комнате и пригласил обоих к столу.

— Не обессудьте за скромную трапезу, — говорил он, заставляя с почтительной фамильярностью пройти в двери первым Ивана Петровича, который немного стеснялся.

Теперь, впрочем, Иван Петрович сопротивлялся совсем слабо. *Скромная трапеза* состояла из жареных устриц, бульона с какими-то удивительными пирожками, таявшими во рту, холодной осетрины, дичи и замечательной толстой белой спаржи. Стол был сервирован безукоризненно, и на нем, несмотря на зимнее время, красовался большой букет гелиотропов, «из собственной оранжерейки», как пояснил потом, самодовольно улыбаясь, Персюков. За столом прислуживал благообразный лакей, не в нитяных, а в свежих замшевых перчатках. Вина подавались тонкие и дорогие, не из тех хересов помадеристее, которые так любят хлебосольная и падкая на разноцветные ярлыки провинция, но настоящие, выдержанные французские вина. С каждым глотком душистой влаги Иван Петрович чувствовал, как в груди его таяло справедливое негодование и умолкали грубые перуны.

Разговор за обедом весьма естественно вертелся около железнодорожных путешествий и приключений. Это дало возможность Ивану Петровичу рассказать несколько интересных эпизодов из своей прошлогодней поездки за границу. Он умел рассказывать очень недурно и не без юмора, но, как все большие себялюбцы, оживлялся только тогда, когда говорил о самом себе.

По тому, как его слушали, сказывалась разница между мужем и женой. Персюков слушал рассеянно: то с преувеличенным вниманием, то совсем не слушал, поглощенный какими-то мыслями. Если Иван Петрович обращался к нему лично, то он суетливо поддакивал или смеялся и тотчас же добавлял:

— А вот попробуйте-ка этого лафита. Как вы находите, есть букет?

Валентина Сергеевна не перебивала его ни одним словом; когда он обращал голову по ее направлению, она поднимала глаза от тарелки и внимательно глядела в его глаза, изредка переводя их на губы, что, в свою очередь, тотчас же невольно делал и Иван Петрович. Это его смущало, но в то же время было ему почему-то приятно. Когда она смеялась — смех сначала загорался в ее глазах, а потом уже трогал губы, что очень шло к ней и придавало улыбке интимный оттенок.

Обед кончился. Валентина Сергеевна предложила пить кофе в другой комнате.

— Вот мой любимый уголок, — сказала она, показывая на место около камина.

Камин, около которого стояла удобная козетка и два кресла, совсем был отгорожен от всей комнаты: с одной стороны — пианино, с другой — широколистые, раскидистыми пальмами и трельяжем из какого-то вьющегося растения. В этот уголок был подан кофе, ликер и ящик с сигарами.

Иван Петрович, неподкупная совесть которого уже теперь не заявляла о своем существовании, глубоко уселся в кресло, втянул полусжатými губами несколько капель густого, захватывающего дух ликера, посмаковал его на языке и принялся медленно, со знанием дела обрезать дорогую сигару.

Зимний вечер заметно темнел. Красный свет камина трепетал на полу, на зеркалах, на потолке; длинные, причудливые тени от пальм дрожали и переплутывались; вместе с теплом сладкая лень охватила тело.

Иван Петрович провел сигарой под носом и вдохнул расширенными ноздрями ее ароматный дым. Присутствие красивой женщины, которая с

каждой минутой нравилась ему все больше и больше, вместе с блаженным состоянием послеобеденного покоя совсем его размягчили.

— Удивительное дело, — сказал он медленным голосом, — ничто так не сближает людей, как камин и полутьма. Отчего это?

Персюкова совсем не было видно в тени между растениями. При последних словах он нагнулся, чтобы наполнить рюмку Ивана Петровича и поглядеть мимоходом на его лицо. Взгляд был внимательный, испытующий, как у осторожного доктора, который пропсал больному новую микстуру и наблюдает за ее действием. Однако он ничего не сказал, опять ушедши в тень пальм.

— Я думаю, это оттого, — отвечал сам себе Иван Петрович, — что у всех сидящих вместе у камина одно и то же настроение. Мирное такое, задумчивое, немного грустное, может быть...

— Домашние пенаты незримо присутствуют, — отозвался откуда-то голос Персюкова.

Иван Петрович повернул голову и даже прищурился, но из света не разглядел Персюкова, сидевшего в темноте.

— Может быть, и пенаты, — согласился он. — А главное — это обстановка. На дворе ни светло, ни темно; по-польски это называется «шара година» — очень удачное выражение, по-моему. В комнате пахнет так хорошо (он понюхал воздух), немного духами, немного лаком и деревом от рояля. Тепло, полутьма, и дремлетса, и вспоминается что-то, и куда-то манит, ждешь чего-то неизвестного...

Он остановился и поглядел на Валентину Сергеевну. Ему казалось, что она оценит его манеру говорить и опять проведет по его лицу своим ласкающим взглядом. Но она не шевельнулась, продолжая сидеть со скрещенными на груди руками и закинутой на спинку козетки головой. Из всего ее лица ему видны были только ее рот и подбородок.

— Чего-то таинственного, поэтического хочется, — продолжал Иван Петрович, неотступно глядя на освещенную часть лица Валентины Сергеевны и думая в то же время о том, что наверно этот «бестия» Персюков следит за ним самим с таким же вниманием из своего темного угла. — Жаль, что я не знаю хороших стихов. Или тоже хорошо бы теперь слушать длинную чудесную сказку, но только верить ей, как, бывало, верилось в детстве.

Он замолчал. В комнате слышалось только слабое хрустение угольев.

Персюков вдруг быстро поднялся, тихо отодвинул свой стул и, мягко ступая по ковру, подошел к Ивану Петровичу.

— Вы меня простите, пожалуйста, Иван Петрович, — сказал он, — мне сейчас нужно съездить по одному делу.

— Скоро ты приедешь? — лениво спросила Валентина Сергеевна, не оборачивая головы.

— Не знаю, голубчик. Через час, может быть, через два. Дело уж очень спешное. Ты постарайся, чтобы Ивану Петровичу не было скучно... Я не прощаюсь...

Он вышел на цыпочках, тихо и плотно затворив за собою дверь.

Пока не стихли его шаги, ни гость, ни хозяйка не сказали друг другу ни слова. Ему казалось, что в этой тишине между ними устанавливается непреодолимая близость.

Она заговорила первая.

— Вот вы сейчас сказали, что пахнет лаком, и потом — про детство. Скажите, случилось с вами, что иногда какой-нибудь звук или запах вдруг вызовет целую картину из прошлого? Особенно яркие воспоминания, связанные с запахом. Знаете, когда я слышу запах этого самого свежего лака,

мне сейчас же представляется такая картина: я еще совсем, совсем маленькая, лет семи или восьми, и стою в углу, лицом к стене. Может быть, я была наказана, не знаю. Стена покрашена коричневой краской, густо так... и я отдираю эту краску ногтем. Солнце в это время садится; на полу четырехугольные пятна от окон, совсем багровые... Откуда-то, неизвестно, пахнет не то лаком, не то яблоками. И вы не можете себе представить, как вдруг грустно делается и хорошо... Точно жаль, что нельзя этого воротить... С вами бывает что-нибудь подобное?

Она обернула к нему голову лениво-грациозным движением. Глаза ее, только что оторвавшиеся от огня, еще не потеряли неопределенного, мечтательного выражения.

Иван Петрович только теперь вполне постиг и оценил красоту ее лица: бледного, чувственного и чрезвычайно нежного, с низким лбом и яркими губами...

У Ивана Петровича было тяжелое, грубое и однообразное детство, о котором он не любил никогда вспоминать. Но на вопрос Валентины Сергеевны он отвечал утвердительно и так живо и радостно, как будто бы она в нем возбудила самые дорогие воспоминания... Его почти бессознательно тянуло перевести разговор на почву неясных мыслей и тонких ощущений.

Опять, так же как и за обедом, их глаза встретились. Она закусила нижнюю губу; Ивану Петровичу опять стало неловко и приятно.

— Зачем вы глядите так долго? — сказала вдруг Валентина Сергеевна шепотом.

Но сама она глаз не отвела; наоборот, в них загорелся вызывающий, дерзкий смех.

И, внезапно рассмеявшись громко, она поставила свою ладонь между его и своими глазами и так близко к его лицу, что он ощутил ее душистую теплоту. Его сердце сжалось и дрогнуло. Он хотел поцеловать эту теплую ладонь, но не решился; когда же она отняла руку, он досадовал на себя, за чем этого не сделал.

Камин начинал потухать. Красный полумрак становился гуще. С каждой минутой делалось все более жутко и приятно. Теперь нужно было или окончить эту неловкость, или совершенно отдаться минуте и случаю.

— А я не ожидал, что вы слышали мои слова, — сказал Иван Петрович, чтобы только нарушить напряженное молчание. — Мне показалось — вы, глядя на огонь, совсем ушли в себя.

Она перевела глаза на огонь, и лицо ее опять стало мечтательным.

— О нет, я вас внимательно слушала... Вы чуть-чуть не выразили одной моей любимой мысли... Только не досказали...

— Хотите, я теперь доскажу?..

— Нет, вы не угадаете... Это трудно. Ну, хорошо, говорите!

— Вы задумались над моими словами, что иногда хочется чего-то неизвестного... непохожего на повседневную прозу, что бы шло, может быть, вразрез... вразрез... ну, хоть даже с общественной моралью...

— А дальше?..

— Дальше? А вы мне скажите раньше, угадал я?

— Не совсем... Впрочем, я все равно теперь своей мысли не скажу... Все-таки, что же дальше? Ах, нет, нет, подождите, у меня на этот счет есть своя целая философия... Только я боюсь, что вам будет неинтересно...

Ему было настолько интересно, что он встал с кресла и сел рядом с ней на козетку.

— Видите ли... — начала Валентина Сергеевна быстро и немного волнуясь. — Но я боюсь за свой язык, совсем не умею им владеть... Видите ли:

ведь никому не известно, что было с человеком до его рождения... Я вот закрываю глаза и стараюсь припомнить, что было раньше. И ничего, ничего нет, кроме вечной темноты. Я ничего не вижу, не слышу, не чувствую, не думаю. И вдруг, откуда-то, точно полоса света, жизнь. Я живу, понимаю, могу говорить, двигаться. Но ведь это все только на мгновение. Наступит старость, потом смерть... А потом? Опять та же неизвестность, опять, стало быть, тот же холод, то же ужасное «ничто». Для чего же это мгновение света? Кто мне растолкует его смысл? Что это? Случай? Ошибка чья-то? Недодуманность? Ведь не могу же я думать, что кто-нибудь подшутил над всем человечеством? Я читаю и слышу постоянно, что все мы, люди, одарены разумом и волей, и это нас связывает в братскую семью. Ах! Ничего этого я не вижу и не хочу признавать! Я вижу толпу, бессмысленную, раздавленную страхом смерти, толпу, которая судорожно цепляется за этот кусочек жизни и света... Мне самой становится страшно и противно!

Она замолчала и нагнула низко голову, приглядываясь к огню.

Иван Петрович следил за ее словами и движениями, точно наэлектризованный. Он видел, как высоко поднималась ее волнуемая грудь, видел, как посреди полутьмы сверкало красное отражение огня в ее широко раскрытых глазах, как трепетали и раздувались ее тонкие, розовые от камина ноздри... Он заметил, как мягкие складки платья определяли форму всей ее стройной, крепкой ноги. Теперь в этой душной и теплой атмосфере, пахнувшей мускусом, вино, выпитое Иваном Петровичем за обедом, сразу кинулось ему в голову.

Он заметил, что ее рука, слабо белевшая в темноте, небрежно лежала на козетке. Почти бессознательно, робея и волнуясь, он положил свою руку рядом, так, что их мизинцы соприкоснулись.

«Заметила она или нет? Если отнимет руку, я извинюсь», — думал Иван Петрович.

— Продолжайте, продолжайте, пожалуйста, — сказал он вслух, — вы меня очень заинтересовали.

— Если так ужасна смерть, — продолжала Валентина Сергеевна, — и так Страшно коротка жизнь, зачем же я ее буду делать скучной и безрадостной? Я хочу веселья и смеха, — мне угрожают общественным мнением; я хочу наслаждения, — мне говорят про долг и про обязанности! Да для чего же все это? Кому нужна моя исполнительность перед этим самым долгом? Ну, представьте себе, что я иду куда-нибудь далеко пешком и несу за спиной тяжелый мешок с драгоценностями. По дороге я наверно узнаю, что у меня мой мешок завтра же отнимут. Ну, разве я не благоразумно поступлю, если я сброшу с плеч эту обузу, продам ее, расшвыряю деньги на ветер и хоть день, хоть час буду счастлива, как хочу?

Иван Петрович жадно ловил ее слова, переводя их тотчас же языком разговаривавшей в нем страсти. Он уже не сомневался, что аллегория о мешке заключала в себе некоторым образом «разрешение на свободу дальнейших действий». Удивительною казалась лишь головоломная быстрота, с которой приближалась развязка. «Что это? Каприз избалованной женщины? Мгновенная вспышка долго, может быть, сдержанного желания?» — размышлял он, между тем как все его тело охватывала и сладко сжимала сердце тянущая истома, знакомая ему истома, похожая на страх и на ожидание. «Или это явление психоза, болезненного расстройства нервов? Или — один из тех случаев, когда женщины из минутной вспышки гнева и ревности делают то, в чем потом каются в продолжение всей жизни?»

Иван Петрович все сильнее прижимал ее мизинец; она руки не убирала.

— Значит... значит, вы верите только в наслаждение? — спросил он тихо, совсем замирающим голосом.

Темнота сделала его смелым и безумным. Он взял решительным движением ее маленькую, нежную и сильную руку и крепко сжал в своей руке. Она вздрогнула всем телом и сделала движение, чтобы вырвать руку, — он пожал ее вторично.

Тогда внезапно она вся обернулась к нему и, отвечая порывистым пожатием, прошептала:

— Да, да, в одно наслаждение...

Иван Петрович также, в свою очередь, повторил это слово, но вряд ли теперь и он и она понимали, что говорили. Слова теряли свой смысл, оставались только звуки, произносимые страстным, волнующимся шепотом.

— А если вам мешают препятствия?

— Я их не знаю.

— Без них нельзя. Ну, скажите, например, что бы вы сделали, если бы вам кто-нибудь сильно понравился?

— Я заранее не могу сказать. Вероятно, поступила бы так, как велит сердце.

— Но вы замужем.

Она несколько секунд помолчала, и, когда заговорила, ее голос звучал глухо:

— Ведь мы окружены такою непроницаемою сетью выдуманных условий, что из них выбраться нет сил. И зачем об этом говорить? Зачем сопротивляться тому, что манит? Помните, у кого это?

Ах, люби меня без размышлений,  
Без тоски, без думы роковой.  
Без упреков, без пустых сомнений!

— Дальше, дальше, — просил Иван Петрович, когда она сразу замолчала, точно спохватившись, — ради бога, продолжайте.

Она вздохнула так глубоко и прерывисто, как будто ей не хватало воздуха, и кончила еле слышно, но выразительно оттеняя слова:

— Что здесь думать? Я твоя, ты — мой.  
Все забудь, все брось, мне весь отдайся!  
На меня так грустно не гляди!  
Разгадать, что в сердце, не пытайся!  
Весь ему отдайся — и иди!

Ее глаз ему не было видно; он хотел рассмотреть их выражение. Но, когда он совсем близко нагнулся к ней, аромат ее тела и духов опьянил его. Не помня себя, он обвил руками ее стан; сцепив пальцы с пальцами, пригнул к себе ее тело и стал целовать ее губы, глаза, шею...

Валентина Сергеевна в ту же секунду очнулась...

— Оставьте меня, пустите! — воскликнула она сердито и, как видно, с намерением громко. — Вы сошли с ума!

Ивана Петровича не испугали бы гневные слова. Он, как большинство мужчин, инстинктивно держался того мнения, что сопротивление делает только слаще триумф победителя, и, кроме того, был слишком взволнован для беспрекословного послушания. Но перемена, происшедшая в Валентине Сергеевне за какие-нибудь две секунды, просто ошеломила его. С

лица сбежало выражение неги, оно стало сразу холодным и несколько грубым; голос, вместо ленивых бархатных нот, зазвучал холодно и крикливо... Он невольно опустил руки.

Валентина Сергеевна тотчас же встала, подошла к двери и, приотворив ее, крикнула:

— Маша! Подайте огня!

Иван Петрович раздраженно пересел на свое кресло, поправляя распустившиеся волосы. Ему вдруг припомнился весь сегодняшний позорный день, и жгучая краска стыда прилила к его щекам.

«Околпачили, околпачили!» — твердил ему какой-то внутренний злорадный голос, и Иван Петрович молчал как убитый, не поворачивая головы, хотя и чувствовал на себе вопросительный взгляд Валентины Сергеевны.

Горничная внесла лампу, поставила ее на стол и вышла, скользя любопытно-лукавым взглядом по обоим собеседникам.

Валентина Сергеевна, заслоняясь рукой от света, резавшего глаза, упорно глядела на Ивана Петровича, так что он невольно поднял голову. Ее лицо выражало тревогу. Он понял ее мысли, и напряженная, злая улыбка искривила его губы.

Она нерешительно подошла к нему и дотронулась до его волос.

— Зачем вы сердитесь, если сами виноваты? Ну, а если бы кто-нибудь вошел?

Она хотела загладить свою, может быть, невольную жестокость.

Чувство стыда возростало в несчастном Иване Петровиче, принимая невыносимые размеры. Он дорого дал бы теперь за возможность быть как можно дальше от этой кокетливой комнаты и от этой красивой женщины, казавшейся ему пять минут назад такой очаровательной.

Наконец он не выдержал.

— Скажите, пожалуйста, скоро ваш *супруг* вернется? — спросил он грубо и не глядя на нее.

— Не знаю, — отвечала она удивленным и обиженным тоном, — можно послать за ним, если хотите.

Видеть в настоящую минуту Персюкова было бы для Ивана Петровича еще горшей мукой. Он уже давно в уме решил *плюнуть на всю эту дурацкую ревизию, где он держал себя таким подлым образом*. Нужно было только выдумать приличный предлог, чтобы ретироваться.

Предлог, как всегда бывает в подобных случаях, не выискивался, и Иван Петрович пошел напролом.

— Простите меня, — сказал он, вставая и глядя в землю, — и извинитесь за меня перед вашим мужем... К сожалению, я не могу больше ожидать... Мне нужно тут... я должен еще поспеть в одно место.

Она его не удерживала, молча протянув ему руку. Она начинала понимать и отчасти переживать его состояние.

Он взял свою шляпу, дошел до дверей, но внезапно остановился, подумал секунду или две и вдруг быстро подошел к ней.

— Вот еще что, Валентина Сергеевна, — произнес он деланно суровым голосом, — передайте от меня вашему мужу, чтобы он осторожнее обращался с переходящими суммами. На него анонимные доносы пишут!

Этим предупреждением Иван Петрович окончательно подписал свой позор. *Эффектный случай* был безвозвратно потерян.

Он стоял и кусал молча свои розовые, выхолощенные ногти; его терзали неловкость и бешенство. Ему хотелось плакать, хотелось надавать себе пощечин, хотелось до конца испить всю горечь стыда и сладость самобичевания.



— Скажите еще вашему мужу, прекрасная Клеопатра, — воскликнул он голосом, в котором дрожали сдержанные рыдания, — пусть он ежедневно благодарит создателя за то, что напал на такого *пижона*, как я; иначе ему пришлось бы очень плохо... Мне поручено было произвести негласную ревизию... Как видите, я блестящим образом выполнил возложенное на меня поручение... Имею честь кланяться... Вы не думайте, что я могу вам быть вредным... Если хотите, я в ваших руках оставлю против себя письменный документ...

С этими словами, едва сдерживая нервные слезы, которые жгли ему горло, он кинул на стол анонимное письмо и, не прощаясь, надев в комнате шляпу, бегом выбежал в переднюю.

Едва за ним затворились двери, как из другой комнаты показался Персиков. Его квадратное лицо сияло самой невинной радостью. Он никуда не думал уезжать и прекрасно слышал все происходившее.

Он подкрался неслышными шагами к своей жене, занятой чтением письма, осторожно обвил ее рукою за шею (отчего она слабо вскрикнула), отогнул ее голову назад и медленно, с чувством, запечатлел долгий, благодарный поцелуй на ее ярых губах.

Эти нежные супруги давно уже привыкли понимать друг друга без лишних слов.

1894

## К СЛАВЕ

Когда я вышел в 18\*\* году из Земледельческой академии, мне пришлось начинать мое жизненное поприще в невероятной глуши, в одном из пограничных юго-западных городков. Вечная грязь, стада свиней на улицах, хатенки, мазанные из глины и навоза... Общество в таких городишках известно: мировой посредник, исправник, нотариус, акцизные чиновники. Спайки в этом обществе не было никакой; все глядели врозь, и причиной этому, конечно, были женщины. Сначала заведется адюльтер, потом недоразумение из-за того, кому первому подходить в соборе ко кресту, потом чреватая всякими бедами сплетня. Сыщутся непременно свои Монтекки и Капулетти, и за их враждой весь город следит с животрепещущим интересом. Словом, все разъехалось и расклеилось.

Приехал к нам новый следователь.

Есть, знаете ли, такие универсальные люди, которые умеют как-то сразу, с одного маху, очаровывать самое разнохарактерное общество. Я думаю, что их тайна очень проста и заключается только в умении слушать. Чутьем каким-то угадает он ваше слабое место, подведет к нему разговор и тогда уж только слушает терпеливо. Вы перед ним самые лучшие перлы души высыпаете, а он знай себе головой кивает да погмыкивает. Этим, впрочем, одним таланты следователя не исчерпывались. Он умел до колিক смешить дам, мог хорошо выпить и в холостой компании прекрасно рассказывал скабрзные анекдоты.

Следователь сделался первым звеном сближения общества. Может быть, он сделался им даже невольно, потому что все взоры на него устремились с ожиданием чего-то нового и веселого. Началось с любительских спектаклей.

Когда дело было совсем уж поставлено на ноги, то и меня к нему притянули, но я, к счастью, оказался с первых же шагов никуда не годным. Дали мне в глупейшей переводной драме роль ревнивого мужа, самую бесцвет-

ную и длинную роль во всей пьесе. Вы и представить себе не можете, с какой кротостью я переносил на репетициях всякие издевательства. Кто только не учил меня, кто надо мной не ломался! И режиссер, и суфлер, и любительницы, и даже, я помню, один гимназист четвертого класса, говоривший сиплым басом и носивший пенсне. Особенно не давалось мне то место, когда я узнаю о неверности жены и «с ужасными жемами отчаяния» (так стояло в пьесе) кричу ей: «О, проклятие! Каждый раз, когда я вспомню о своем позоре — я трепещу от негодования!» Как дойдет до этого места, — любительницы смеются, а режиссер кричит: «Вы как манекен держитесь! Видите сами, — здесь ремарка: «жесты отчаяния». Смотрите на меня. Вот как нужно жестикулировать!»

Пришел ожидаемый день спектакля. Жутко было. А главное — чем ближе подходит пьеса к роковому месту, тем больше я чувствую, что оно меня зарежет. Наконец сценариус выталкивает меня в спину из-за кулис. Я стремглав вылетаю, ворочаю глазами, вспоминаю режиссерские указания и делаю первый жест отчаяния. Но в это мгновение я к ужасу своему, чувствую, что убийственные слова совсем вылетели из моей памяти. Ну вот не могу припомнить и — баста! Прошла минута, может быть, две, — для меня этот ужас длился целые годы. Я стою, окаменев в отчаянной позе, и молчу, и ничего не слышу, кроме звона в ушах. Наконец из суфлерской будочки до меня доносится: «О, проклятие, каждый раз...» Я делаю последнее, невероятное усилие, хватаю себя за волосы и диким голосом на весь театр кричу: «О, проклятие! Каждый раз, когда я вспомню о своем трезоре, я попишу от негодования!» Ну, понятное дело, меня из кружка в тот же вечер выгнали с величайшим триумфом, а перековерканная фраза обратилась в анекдот, и я не удивлюсь, если кто-нибудь из вас его уже слышал.

Таким образом, я остался в стороне. Как и нужно было ожидать, на первый раз все единодушно решили поставить какую-то тяжелую драму, написанную суконным языком, и, кроме нее, конечно, водевиль. Не обошлось без интриг. Две дамы рассчитывали на главную драматическую роль. Одна основывала свое право на том, что видела в этой роли Федотову, другая утверждала, что нарочно для этой роли заказала платье с кружевными оборочками и дамассе. Не раз дело расстраивалось и вновь склеивалось... В конце концов перед самым спектаклем барышня, которая должна была играть в водевиле, обиделась, закапризничала, заболела и отказалась. Отменить водевиль не было возможности, потому что афиши уже были напечатаны и часть билетов распродана. Никто не хотел идти на затычку по случаю отказа прежней исполнительницы. Тогда кто-то посоветовал просить Лидочку Гнетневу.

Может быть, господу, кому-нибудь из вас случалось встретить хоть раз такую женщину, которая промелькнет в вашей жизни, точно оссиановская тень, и навсегда останется в памяти, как далекое, милое, но странное сновидение? Пусть она на вас не обращала никакого внимания, пусть вы сами никогда и не пытались даже полюбить ее, пусть вы потом встречали женщин умных, чутких, красивых, — ни один образ не застелет этого неуловимо-своеобразного тонкого образа. Такою именно и была Лидочка. Я до сих пор необыкновенно живо умею представлять себе ее наружность: гибкое худощавое тело, властно очерченные брови, черные кудри, голубые жилки на висках, нервный некрасивый рот и в виде контраста к нему прекрасные темные глаза, суровые, почти скорбные, никогда не улыбающиеся. Отец Лидочки, служивший у нас уездным казначеем, жил открыто. Я часто, в продолжение многих лет, бывал у Гнетневых, и Лидочка на моих глазах из шаловливого котенка-подростка в коротких платьицах выровня-

лась в красивую девушку. Все в ней было очаровательно: и простая, внимательная отзывчивость на чужое горе, и грациозная прелесть каприза, и наивно-резкая правдивость, и застенчивость, и еще что-то, что сказывалось во всем ее существе: не то дерзость, не то какое-то жадное ко всему крайнему любопытство. Не умею я, черт возьми, всего этого, глубокого, передать, но таких женщин на каждом шагу не встретишь.

Сначала она наотрез было отказалась от предложенной роли и согласилась только после долгих упрасиваний. На репетициях я ее почти не видал, но догадывался издали, что Лидочку задело за живое. Обыкновенно она часто делилась со мной впечатлениями, и удивительно, как ясно и точно она умела передавать самые тонкие подробности виденного, слышанного и перечувствованного. Я встретился с ней близко уже на самом спектакле, за кулисами, куда имел доступ благодаря тому, что принимал участие в писании декораций.

Столкнулись мы как раз перед ее выходом, в тесном коридоре, между стеной и кулисами. На ней было белое простенькое платье, схваченное в талии голубой ленточкой. Странно изменилось ее лицо под гримом: оно стало как будто незнакомым, черты его выяснились резче и красивей, глаза, подведенные и ярко блестящие от внутреннего волнения и от темной краски, казались неестественно громадными.

— Что, — спросил я ее, — жутко приходится?

Она прижала обе руки к груди и посмотрела на меня каким-то просящим о помощи взглядом.

— Страшно... Тут вот так и бьется... Я, кажется, откажусь выйти на сцену. Ну куда я дену свои руки и ноги? Боже мой, какое мученье!

Позвал ее сценарист. Я стал прислушиваться. Вместо веселых вступительных слов ее роли, вместо звонкого хохота, требуемого пьесой в этом месте, я услышал робко срывающийся, как будто чужой голос и невольно зажмурил глаза. Стыдно мне как-то стало за Лидочку и страшно. Я знал ее нервы и самолюбие и понимал, как она сама страдает от своей неловкости.

Несколько томительных секунд я ничего не слышал, а когда наконец боязливо заглянул из бокового марлевого окна на сцену, то так и окаменел от удивления. Лидочка не только оправилась, — она была неузнаваема. Каждое движение ее отличалось непринужденной и уверенной грацией, каждое слово произносила она именно так, как его произносят в обычной жизни. Впрочем, не на одного меня Лидочка произвела такое впечатление. Я окинул глазами зрительную залу и увидел все давно знакомые лица оживленными и улыбающимися.

Вся роль Лидочки заключалась в каких-нибудь двух-трех десятках реплик, чрезвычайно живых и кокетливых. Когда она, напевая какой-то мотив и подбрасывая на ходу большой резиновый мяч, направилась к дверям, вслед ей раздались крики и шумные аплодисменты. Она вернулась и растерянно, немного по-институтски раскланялась. Ее вызвали еще и еще — раза четыре, кажется. Я стоял у дверей и открывал их. Она вышла задыхающаяся, со сверкающими глазами, с румянцем, выступившим даже из-под грима, с пересохшими от волнения губами. На мое поздравление она протянула мне обе руки.

Весь этот вечер Лидочка была чрезвычайно, даже, пожалуй, неестественно оживлена и часто смеялась нервным, беспричинным смехом. Я раза два подходил к ней и рассказывал что-то. Она слушала меня, не перебивая, но отвечала невпопад, глядела на меня неотступно, но в ее глазах сияло такое мечтательное счастье, губы складывались в такую блаженную улыбку, что мне становилось понятно, как далеко были ее мысли от моих расска-

зов. Она смотрела на меня, как смотрит замечтавшийся человек на отдаленный предмет, на какое-нибудь пятнышко на обоях: самого пятнышка не видишь, а оторваться от него невозможно.

Так и Лидочка, должно быть, все еще видела перед собой подмостки, возвышающие ее над сотнями голов, слышала оглушительный, пьянящий плеск аплодисментов, и ее опять тянуло к тому прекрасному сну, от которого она только что проснулась.

Среди публики Лидочкин дебют положительно произвел эффект, и многие поспешили в тот же вечер высказать ей это в самых лестных выражениях. Мнение большинства обеспечило за ней на следующий спектакль трудную и выдающуюся роль: она должна была играть Офелию.

Взялась она за дело с той страстностью, с какой она хваталась за все для нее новое, и притом — так настойчиво, как трудно было от нее ожидать. Она даже осунулась и побледнела. Что она тогда чувствовала, как работало ее воображение — господь ее знает; никому она об этом не говорила. Но вероятно, в ее душе именно тогда и родился целый мир новых надежд и ощущений, имевший громадное влияние на всю ее последующую жизнь.

Наконец поставили и спектакль. Я был в числе зрителей — за кулисы меня больше уже не пустили, потому что пошли в театре строгие порядки, и спектакль ставил настоящий, заправский актер не без имени.

Лидочка, правда, не избежала общей участи дебютантов: говорила иногда слишком тихо, делала большие паузы... Но зато я видел настоящую Офелию, тот самый прелестный женственный образ, который нарисован Шекспиром. Она такой и явилась пред нашими глазами: нежной и робкой, любящей и в то же время жертвующей любовью ради придворного этикета и безусловного преклонения пред отцовскою моралью. Она не героиня: в ней скорее больше чисто детской доверчивости и податливости. По натуре она пряма и не умеет лгать, но привычка постоянно держаться на виду делает то, что любовь ее никому не кидается в глаза. Никому и в голову не приходит догадаться, что совершается в ее душе, до тех пор, пока долго скрываема внутренняя борьба не разражается внезапным безумием. Тогда только каждый начинает понимать, что

Все это яд глубокой скорби сердца.

Лидочке устроили шумную овацию. Кто-то поднес ей громадный венок из живых цветов, перевязанный широкими розовыми атласными лентами. Я сам бесновался не хуже других, но все-таки успел заметить по той же блаженной улыбке на Лидочкиных губах, по загоревшимся щекам, что у нее закружилась голова.

Я ее проводил домой поздно ночью, счастливую, обессиленную. Мы шли под руку. Было то время весны, когда только начинает распускаться сирень. В теплой дремлющей темноте ночи точно разливалась какая-то душистая, сладостная нега, точно веяло в лицо чье-то дыхание, и чьи-то жаркие губы, казалось, вот-вот приблизятся к губам.

Мы с Лидочкой шли очень скоро и далеко оставили за собой остальное общество. Я нагнулся и поглядел на нее сбоку: ее головка была закинута кверху, и глаза устремлены на мигающие серебряные, звезды. Почувствовав мой взгляд, она вздрогнула и вдруг крепко прижала к себе мою руку.

— Холодно? — спросил я вполголоса.

— Нет, — говорит, — не холодно, а я от своих мыслей вздрогнула. Я об вас сейчас думала.

Страшно мне и сладко от ее слов сделалось.

— Обо мне. Неужели — обо мне?

— Да, — о вас. Скажите, умеете вы вставать рано утром? Часов в шесть?

Я отвечал, что я не только в шесть часов готов встать, но даже... не помню, право, что я такое именно сказал; надо думать, что-нибудь очень глупое.

Мы в это время подошли к ихней калитке и остановились, чтобы подождать отставших. Она оглянулась назад, потом приблизила ко мне лицо и проговорила быстрым шепотом:

— Завтра... в нашем саду... Рано, рано... часов в шесть, в половине седьмого... Папа встает поздно.

И опять крепко пожалала мне руку.

Надо сознаться, господа, что я в то время был чрезвычайно молод, непростительно молод. Домой дошел я точно на крыльях и, ей-богу, не могу сказать, спал или не спал в эту ночь. Бывает такое состояние: не то спишь, не то бодрствуешь, не то гредишь. Это — когда на душе есть какое-нибудь особенное, крупное впечатление. Понятное дело, я тогда же догадался, что уже давно влюблен в Лидочку (хотя, говоря откровенно, раньше этой любви не замечалось ни малейшего признака). Думал я всю ночь, как увижу ее завтра, робкую, краснеющую за свою вчерашнюю смелость, как я ей скажу, что полюбил ее с первого взгляда... Вот только меня останавливало, в какой форме сделать предложение? «Позвольте предложить вам руку и сердце?» Безобразно: точь-в-точь — приглашение на контрданс. «Хотите ли вы, Лидия Михайловна, быть моей женой?» Гм... Оно как будто бы и ничего, но для молодой девицы, пожалуй, немного деловито. А? Словом, в этом пункте я ни на каком ясном решении не остановился.

В шесть часов утра, точно от внезапного толчка, я проснулся с мыслью о Лидочке и о предстоящем свидании. Через несколько минут, вздрагивая от холода и молодого восторга, чувствуя свежесть и упругость во всех мускулах, я уже перепрыгивал одним махом забор Лидочкина сада.

Утро, как нарочно, выдалось прохладное, золотое, веселое, звонкое такое. Трава лоснилась, точно яркий зеленый шелк, и на ней там и сям дрожали, играя разноцветными огнями, крупные алмазы росы. Солнечные лучи, пробившись сквозь густую чашу липовой аллеи, ложились на песке дорожки круглыми движущимися пятнами. Мне казалось, что и птицы пришли в безумный восторг от этого чудесного утра, так они возлились в кустах, так щебетали, свистели и чирикали. Боже мой! А у меня-то, у меня-то как в душе пелось, сколько во мне трепетало радости и силы!.. Был ли я когда-нибудь счастливее, чем в эти мгновения? Едва ли.

Я не успел еще пройти половины аллеи, как на другом конце показалась Лидочка. Она шла очень скоро, склонив, по своей милой привычке, голову немного вниз. Ее тоненькая, изящная фигурка в простом белом платье то мелькала в тени деревьев, то заливалась ярким золотым светом. Я пошел ей навстречу. Мне хотелось упасть к ее ногам, хотелось кричать, смеяться и петь. В ее глазах еще виднелось отражение утреннего сна; темные кудри, наскоро причесанные нетерпеливою рукой, падали на лоб небрежными локонами. Как она была прекрасна: свежая, розовая, смеющаяся!

Лидочка протянула мне обе руки. Я нагнулся, поцеловал сначала одну, потом другую. Она отняла руки и сказала: «Пойдемте дальше, здесь могут увидеть».

Я пошел следом за Лидочкой, любуясь на красивые движения ее тела и прислушиваясь к легкому шуму ее платья, между тем как мое сердце билось восторженно и беспорядочно. Мы зашли в самый дальний угол сада, где так буйно разрослись высокие кусты сирени, что под ними всегда стоя-

ла темная и душистая прохлада. Лидочка как будто в нерешительном раздумье остановилась, стала на цыпочки и схватила рукой густую, упругую кисть белой сирени. Разрезной рукав капота упал вниз, и я увидел ее тонкую розовую руку с девически острым локтем. Ветка не поддавалась. Лидочка нахмурила брови, перегнула ветку так, что она хрустнула, и с усилием дернула к себе. Листья задрожали, и на нас вдруг посыпался целый дождь крупных, холодных капель росы. Я не выдержал. Аромат сирени, бодрящая свежесть раннего весеннего утра, розовая обнаженная рука в двух верхках от моих губ — все это внезапно лишило меня соображения.

— Лидия Михайловна, — сказал я дрожащим, нерешительным голосом, — знаете ли вы, что я... что вы... что я...

Лидочка обернулась ко мне. Должно быть, мой тон был ей очень понятен, но на ее лице я не прочел ничего, кроме удивления и затаенного смеха, дрожавшего в уголках губ. Моя решимость так же быстро пропала, как и появилась.

— Что же вы замолчали? — спросила наконец Лидочка.

— Я... я... я, собственно, ничего не говорю... Вы вчера сделали мне честь почтить меня своим доверием... Если вам нужна услуга беззаветно преданного человека (я понемногу начал оправляться от смущения), то я буду вас просить выбрать непременно меня.

Лидочка понюхала цветы, поглядела на меня исподлобья и спросила:

— И я могу *во всем* на вас положиться, как на верного друга? Ах, какое бы это было в самом деле счастье; нет ничего святее и бескорыстнее дружбы!

Должно быть, Лидочка заметила мои разочарованно вытянутые губы и сжалилась надо мной. Она не знала, конечно, как бескорыстные друзья-женщины деспотически обращаются с друзьями-мужчинами. Я поспешил дать целый десяток самых красноречивых уверений. К своему горю, я уже начинал понимать, куда клонится дело.

— Если так, — сказала Лидочка, — то вы мне можете оказать очень большую услугу. Я решила совсем отдаться театру. Пусть это, впрочем, останется покамест только между нами. Конечно, мне раньше всего надо учиться и учиться, я это знаю, и вот поэтому-то мне и необходим опытный и строгий руководитель. Найдите для меня хорошего профессора и заслужите мою вечную признательность.

— Но как же, Лидия Михайловна, — пробовал я возразить, — ведь вам известно, что у нас здесь не только профессора...

— Знаю, знаю, — перебила нетерпеливо Лидочка, — я все это уже обдумала. Скажите, правда, что вы на днях собираетесь в Москву?

— Да, собираюсь, но, если вам угодно, могу и остаться. Дело не к спеху.

— Нет, непременно поезжайте и — как можно скорее. Через неделю я там буду с папой, и вы, если хотите, устройте для меня все. Хорошо? Можете вы это сделать? Ну вот, спасибо вам большое. А теперь идите, идите; папа сейчас проснется. И помните: самая строгая тайна!

Я ушел повеся голову. У меня сейчас же явилась мысль: как это я мог подумать, что я влюблен в Лидочку? Разве я влюблен? Просто я — ее друг, преданный, верный друг. Отец ее — добрый человек, но он ничего, кроме своего казначейства, знать не хочет; мать всю жизнь возится с нервами и докторами. Необходим же ведь Лидочке друг и советник, который бы охранял ее детскую неопытность.

Все-таки, как я ни старался утешить себя соблазнами солидной роли друга, а в душе у меня ныло и сверлило чувство обиды. В то зеленое время я не успел еще прийти к заключению, что судьба осудила меня на вечное безбрачие. Я, кажется, и на свет Божий родился с какими-то особенными

качествами старого холостяка. Сколько девушек поверяло мне свои маленькие тайны, сколько дам избирало меня «первым другом»! А между тем, едва только мое сердце прилепится к какой-нибудь избраннице, — она меня сразу и огорошит. Либо поручение даст к счастливому сопернику, либо избрет меня сосудом излияния всяких нежных, но для меня совсем неинтересных чувств. Отчего это, господа, так постоянно выходило? Ведь не урод я, не калека, не женоподобен, не скажу, чтобы и глуп был особенно. Неужели взаправду есть несчастные, вылепленные из специально холостяцкого материала? А впрочем, черт поберит, может быть, это вовсе и не несчастье!

Встретились мы с Лидочкой в Москве. Обо всем сговорились заранее. Я и о профессоре к ее приезду разузнал. Он в то время уже сошел со сцены, но фамилию его вы, наверное, слышали от ваших отцов и матерей. Это был известный артист — Славин-Славинский.

Однажды Лидочка сказала своим, что отправляется к тетке, а на самом деле встретила со мною в Пассаже, и мы вместе отправились куда-то на Пресню. С трудом отыскивали дом, где жил Славинский: скромная квартира с дешевенькими обоями и низкими потолками. На стенах гигантские венки с надписями на лентах: «Горе от ума», «Кин, или Гений и беспутство», «Ревизор», «Ромео и Джульетта» и дальше: «нашему дорогому», «высоко-талантливому», «великому артисту» и так далее и так далее. Кроме нас, в гостиной дождался бритый господин в пенсне с морщинистым презрительным лицом и две дамы, обе немолодые и некрасивые. Вышел к нам наконец профессор. Физиономия старого льва: косматая грива седых волос, смелые глаза и широкие ноздри. Он перекинулся двумя словами с бритым господином, сухо поклонился обеим дамам, затем подошел к нам и остановился, вопросительно глядя на Лидочку. Он своим долголетним чутьем догадывался, что весь смысл нашего визита находится в ней.

— Чем могу служить? — спрашивает.

Лидочка мгновенно сделалась пунцовой. Воображаю, сколько она еще раньше перемучилась, представляя себе этот вопрос. Но уже никакие смущения не могли ее поколебать. Она справилась с собой и сказала, глядя прямо в глаза профессору:

— Я бы желала... учиться у вас... драматическому искусству.

Я думаю, всякому из вас, господа, случалось: когда долго готовишь в уме какую-нибудь фразу, — непременно она в конце концов станет или худой, или пошлой, или напыщенно-неестественной.

Славинский поглядел внимательно на Лидочку и сказал:

— Будьте добры, зайдите в мой кабинет.

Лидочка умоляюще оглянулась на меня. Профессор тотчас же поклонился и жестом уступил мне дорогу. Мы уселись в кресла, а Славинский принялся ходить из угла в угол.

— Для чего, собственно, угодно вам брать уроки? — спросил он после некоторой паузы. — Желаете ли вы поступить на сцену или так... для себя?

Лидочка собралась с силами и отвечала смелым, но в то же время срывающимся от волнения голосом:

— Да, я хочу поступить на сцену.

— Хорошо-с. А вам известно, что вы можете поступить только на провинциальную сцену?

— Известно. Но я полагаю, что впоследствии...

Славинский покачал головой с таким видом, как будто бы хотел сказать: я эти слова слышу уже не в первый, может быть, даже не в сотый раз...

— Скажите мне правду, милая барышня, вы, верно, играли в любительских спектаклях?

— Играла.

— И верно, имели, к вашему несчастью, успех?

— Да, имела некоторый... Но почему же к несчастью?

Славинский остановился перед ней с ласковой улыбкой на своем красивом лице.

— Потому, милое мое дитя, что нет в мире ни одного такого сильного яда, как слава. И слаще его тоже ничего нет. Он даже в самых маленьких дозах действует неотразимо, хотя и медленно. Шумный успех, аплодисменты, напечатанная фамилия, — и вы отравлены, и вас неудержимо тянет к еще и еще большему приему сладкого яда. Я ведь знаю, что теперь совершается в вашей милой головке: тысячная публика, слезы восторга, оглушительный рев толпы и слава, слава, слава... Ох, тернист, тернист этот путь! Что стесняться? Я не без чести прошел по нему; но дайте мне начать снова жизнь, я предпочту стать купцом или ремесленником. Верьте мне, я уже старик, и, наконец, лгать нет для меня никакого расчета. Через мои руки прошло много молодого народа, так же окрыленного надеждами, как и вы. Но спросите, где они теперь? Десять, пятнадцать человек приобрели кое-какую известность. О большинстве нет ни слуху ни духу. Крупный процент пошел по торной дороге пьянства, двусмысленного балаганного успеха, закулисных интриг и сплетен! Я ведь, голубчик, ни слова не говорю, когда лезут ко мне офицеры отставные, или купеческие сынки, или безнадежные, в смысле Гименея, девицы. Видали у меня в гостиную парочку? Это мой крест, за который мне, вероятно, многое простится. Но зато каждый раз, когда судьба приведет в мою гостиную молодое, стремительное существо, — мне все кажется, что я его толкаю собственными руками в глубокий и грязный омут. Вы и представить себе не можете, что это за клоака — провинциальная сцена...

Славинский говорил еще долго и убедительно. Не помню всех его слов, но, по-моему, трудно было не поверить его горячей речи.

Лидочка встала и, не поднимая глаз, начала светливым, нервным движением надевать перчатки.

Славинский бросился к ней. Он по ее сердитому лицу убедился, что его слова были, яко кимвал бряцающий, и стал извиняться. Он сознался, что увлекся, что ему не следовало бы всего этого говорить и что в конце концов он согласен давать уроки. Бог знает, что им руководило в его страстной речи: расчетливая игра на искренность или настоящее сердечное сочувствие?

— Что вы знаете наизусть? — спросил Славинский, когда мы уселись.

Оказалось, что Лидочка ничего, кроме басен, не знает, и те не решается говорить без книжки. Профессор достал с этажерки одну из книг в сафьяновых красных переплетах и, развернув ее наугад, подал Лидочке.

— Потрудитесь, — говорит, — прочитать.

Я взглянул через Лидочкино плечо и узнал не сравнимую ни с чем по красоте сцену прощания Ромео с Джульеттой, когда Ромео спускается утром по лестнице из окна своей возлюбленной. Лидочка начала очень неуверенно, путалась, немного торопилась — сцена была ей незнакома, — но все-таки, мне кажется, прочла очень и очень недурно. Профессор следил за ней с большим вниманием, хмуря слегка брови при ее ошибках.

— Хорошо, очень хорошо, — сказал он, когда Лидочка кончила и робко подняла на него глаза. — У вас есть способности, не беру на себя смелости сказать — талант. Во всяком случае, вы можете быть полезной работницей



на сцене. Только надо учиться, учиться и учиться. Вот, потрудитесь послушать, как я прочту вам то же самое.

Ну и прочел же!

Вышли мы от Славинского порядком-таки сконфуженные, хотя профессор с нами был чрезвычайно любезен. По выражению Лидочкина лица я видел, что она осталась непреклонной.

Это было наше последнее свидание. Затем как-то сразу потерял я Лидочку из виду, потому что судьба меня вскоре опять бросила в захолустье. Я, господа, захватил еще доисторические времена, так сказать. Не только нашего клуба не было, или фонарей на улицах, или любительских спектаклей, но и лавок на весь город было только две. Зато, чего теперь нет, стоял целый полк энэнских гусар. Если бы их теперь сюда, то-то наши девицы запрыгали бы! А в те отдаленные и невежественные времена присутствие энэнских гусар в городе не только никого не радовало, но благочестивые старушки, ложась ночью в постель и заслыша на улице шпоры, творили, крестясь, молитву про царя Давида и всю кротость его. Да и у меня иной раз до сих пор волос становится дыбом при тех приятных воспоминаниях, которые связаны с энэнцами.

Впрочем, между ними были славные ребята и, главное, редкостные питухи. С одним — корнетом Алферовым — я жил вместе на квартире. Что нас связало, всегда оставалось для меня загадкой; мы жили в теснейшей дружбе, хотя по неделям не говорили друг другу ни слова. Правда, корнет Алферов с первого взгляда не поражал умом, но чем ближе приходилось его узнавать, тем он казался глупее. Говорил он мало или, вернее, не говорил, а выпаливал, и всегда с примесью собственных словечек: кобылячья голова, дамеша — вместо дама, бекалия тентерь-вентерь и тому подобное. Когда он бывал дома (что, впрочем, случалось редко), я его всегда заставал в неизменной позе лежащим на диване: длинные ноги, закинутые вверх одна на другую, расстегнутая цветная рубашка, гитара в руках и папироса в углу рта. Весь его музыкальный репертуар, исполняемый необыкновенно фальшивым басом, состоял только из двух пьес. Одна, мажорная, пелась в антрактах между кутежами, в денежную полосу, приблизительно таким образом:

Бе-сются кони, брещат мундштука-ами,  
Пе-нются, рвутся, храпя-я-ят.  
Барыни, барышни взорами отчаянными  
Вслед уходящим глядят.

Минорная пьеса отличалась самыми нелепыми словами. Помню только, что там говорилось о том,

Как приятно  
Умирать в горячке,  
Когда сердце бьется, как  
У молодой собачки.

Словом, как видите, был отличный малый во всех отношениях.

Однажды, когда я предавался сладостному послеобеденному ничегонеделью, влетает Алферов в мою комнату, делая на ходу воздушные пируэты. В руках у него большой лист красной бумаги. Я смотрю на него с недоумением.

— У нас, черт возьми, через три дня будет в городе драматическая труппа, — кричит Алферов. — Труппа, труппа, труппа-па-па! — И, напевая поль-

ку, которая бросила бы в пот последнего тапера, он начинает носиться взад и вперед по комнате.

Так как я достаточно хорошо знал Алферова с его эстетической стороны, то, не переставая удивляться, спрашиваю:

— Что же тут такого радостного?

— Как радостного? — изумляется, в свою очередь, Алферов. — А актрисы? Ура, да здравствует драматическая труппа!

Я беру из рук Алферова афишу и читаю следующее:

«Русско-малорусское товарищество драматических артистов, под управлением г. Максименка и при участии артистов Императорских театров г. Южина и г-жи Вериней, будет иметь честь дать в самое непродолжительное время в доме г. Соловейчика ряд блестящих представлений, в которые войдут выдающиеся пьесы как русских, так и прочих заграничных авторов.

Между прочим, в среду, 22 сентября, поставлена будет:

### ПРОКЛЯТИЕ МАТЕРИ

Драма в 5-ти действиях

Эта драма, с успехом исполнявшаяся на европейских столичных сценах и многих провинциальных знаменитостей. В заключение будет всеми артистами труппы поставлен разнохарактерный дивертисмент».

Помню я, поразили меня фамилии актеров. Тут были и Сапега-Никольский, и Малинин-Анчарский, и Смелская, и Андреева-Дольская, даже, наконец, Гнедич-Баратынская.

Среди нашей глухой, монотонной жизни даже учение местной инвазивной команды было зрелищем, собиравшим весь город. Нечего и говорить, что все места на первый спектакль доставались чуть не с бою, хотя театр, перестроенный на живую руку из яичного склада, отличался поместительностью. Мой корнет в этот вечер оделся особенно тщательно и крепко надушился духами пачули. Входя в театр, он так гремел саблей и шпорами, что сразу обратил на себя общее внимание.

Громадная зрительная зала (состоявшая из одного только партера) освещалась тремя или четырьмя висячими лампами. Глаз должен был сначала привыкнуть к темноте, чтобы различить что-нибудь. Театр быстро наполнялся. Из задних рядов, где, стоя за барьером, помещалась толпа еврейчиков и солдат, привлеченная низкой входной платой, все громче и громче слышались разговоры, кашлянье и смех. Из-за занавеси, изображавшей двух гусей и торчащую из воды башню, доносились торопливые удары молотка, топанье ног и невнятные быстрые фразы. Между сценой и зрительной залой сидели, оборотясь лицом к публике, пять или шесть музыкантов с двумя скрипками, флейтой, тромбонам и турецким барабаном: в полном составе оркестр Гершки Шпильмана, игравший обыкновенно на еврейских свадьбах.

Чей-то здоровенный голос закричал с галерки: «Пора! Начинайте!» Его поддержали еще несколько голосов: «Время! Времечко-о!» Гершко постукал два раза нотами о пюпитр и, крикнув: «Ша!», оглянул музыкантов, разбивавших инструменты. Когда все успокоились, он взмахнул одновременно и головой и флейтой, приложенной к губам. Таким образом Шпильман играл и вместе с тем дирижировал флейтой, а оркестр играл «Маюфес» — национальный еврейский танец. Наконец за сценой зазвонили, и занавес поднялся.

Кажется, пьеса была переводная, с сюжетом, заимствованным из средневековой жизни, но в чем заключалось ее содержание, я так и не мог понять. Что действительно произвело в публике неожиданный, но великолепный эффект, так это — иностранные фамилии. Выходит, например, на сцену молодой человек, подходит к героине и, прикладывая руку к сердцу, рекомендуется: «Маркиза, я — Фернандо де ла Капо ди Монте, племянник вашего старого друга графа д'Аргентюея». Галерка приходит в неописанный восторг. «Так, так, валяй его, — слышатся оттуда голоса, — кат-тай его на все корки!»

Был в пьесе, я помню, иезуитский патер, тайная пружина всей драмы. Он говорил искусственно дребезжащим голосом и все смеялся шипящим смехом театрального злодея. Затем был молодой и благородный потомок древней фамилии. Эту роль исполнял актер, одетый в богфорты со шпорами и в серую фуфайку, запрятанную в рейтузы энэнского полка (как я потом узнал, все бутафорские и костюмерные принадлежности собирались за несколько дней до спектакля у доверчивых почитателей искусства). По наущению коварного патера, кто-то в чем-то оклеветал благородного потомка в болотных сапогах и навлек на него проклятие матери. Потомок прощается со своей возлюбленной, идет из города и, удрученный горем, скитается в лесах. Там он мимоходом убивает патера. Наконец, тоскуя по возлюбленной, он опять идет в город и на этот раз появляется перед публикой обросший волосами, в длинной блузе, подпоясанной веревкой, с кухонным ножом в руках. Застав возлюбленную в объятиях вероломного друга, он убивает обоих на месте преступления. Его ведут в тюрьму; он по дороге говорит еще один монолог и, вырвавшись из рук стражи, кидается в реку, куда за ним немедленно стремится и его мать, слишком поздно узнавшая о своей ошибке. Масса крови, длинные монологи с проклятиями, иностранные имена, — словом, раздирательная драма во вкусе провинциальных трупп.

Чем дальше я слушал, тем сильнее возрастало во мне какое-то напряженное, гнетущее чувство не то стыда за этих ломающихся людей, не то жалости. Взглянул я на соседей — и у них у всех тоже болезненно сморщенные лица. Кричит человек, кривляется, бьет себя в грудь, и чувствуешь, сам он не понимает, как неприятно и жалко на него смотреть. Так бы, кажется, и закричал ему: «Добрый человек, зачем вы избрали такой неблагоприятный и тяжелый труд; если вы уж ни к чему больше не способны, наIMITесь гранить булыжник: это занятие и легче, и почетнее, и прибыльнее, чем кривляние, возбуждающее только болезненную жалость».

Всего больше меня поразил тот самый актер, который играл благородного потомка. Судя по голосу, это был человек уже преклонного возраста. Вероятно, когда-нибудь он хоть мельком видел чью-то игру и твердо запечатлел в памяти пять-шесть артистических приемов, преувеличив их до последней крайности. Так, например, в минуты особенно трагические он уже не ходил, как ходят обыкновенно все люди, хотя бы и удрученные большим горем, а все падал. Опустит голову на грудь и начинает наклоняться вперед телом, точно падающая статуя, вот-вот, кажется, грохнется на землю. Но внезапно его ноги делают два быстрых шага вперед, голова взбрасывается вверх, глаза вращаются, и руки с растопыренными и скрюченными пальцами вытягиваются в пространство. А между тем, боже мой, сколько рвения влягал он в свою роль! Он играл без парика, и, верите ли, я сам видел, как он действительно рвал на себе волосы. Когда он бил себя кулаками по впалой груди, удары эти раздавались по всему театру и заставляли галерку ржать.

Когда кончилось первое действие, я вышел в холодные сени покурить. Ко мне подбежал сияющий и гремящий Алферов.

- Был! Видел! — крикнул он еще издалека. — Одна — прехорошенькая.
- Кого видел-то?
- Актрис. Три — рожи, а одна — прелесть.
- Что же, ты познакомился?

— Нет еще. Я покамест — в щелку. Знаешь, неловко как-то. Я думаю ротмистра попросить, он этим ничем не смущается. Вон он стоит, курит. Подойдем к нему.

Этот ротмистр, последний отпрыск знаменитого гусарства времен партизанских войн и Дениса Давыдова, уже и в то отдаленное время являлся в наших глазах почтенным и немного странным анахронизмом. Он мог выпить колоссальное количество всяких водок и вин, обладал знаменитым в дивизии голосом, рыцарски вежливо обращался с женщинами и деспотически с мужчинами. Мы подошли к нему.

— Голубчик, ротмистр, — не то смеясь, не то робея, не то заискивая, сказал Алферов, — я хочу с актрисами познакомиться. Можно это?

Ротмистр скосил на него глаза.

— Ну, а я-то здесь при чем?

— Знаете, неловко как-то. Не умею я предлога найти. И вообще... неловко.

— Не умеешь? А нос-то свой ты сам вытираешь? — пустил ротмистр густым басом. — Иди прямо за кулисы и говори: вот, мол, я такой-то и такой, корнет, и меня, мол, по правде сказать, надо еще в пеленках держать. Глуп ты, Алферушка, молод и глуп. Пойдем.

Осчастливленный Алферов побежал за ротмистром, а я вернулся в душную залу на свое место; Гершко опять сыграл «Маюфес», занавес медленно и неуклюже поднялся. В глубине сцены жестикулировали два актера, в стороне от них, близко к рампе, сидела молодая женщина, оборотясь лицом к публике. В первом действии она не выходила, иначе я бы сразу ее заметил. Сначала я сам не сознавал, почему она так приковала к себе мое внимание. Потом лицо ее показалось мне до такой степени знакомым, что я ждал только ее голоса. «Если она заговорит, — думал я, — я, наверное, вспомню». И когда она заговорила, я тотчас же узнал Лидочку. Как она изменилась за эти три года! Ничего еще, если бы она только осунулась и постарела; нет, она еще была настолько молода и красива, чтобы сразу пленить веселого корнета. Но в ее лице, в усталых движениях, в нервном, измученном голосе сказывалось давнишнее затаенное страдание, сказывалось даже сквозь привычную ложь театральной напыщенности. Я оставил Лидочку шаловливой, грациозной девушкой, чуть не ребенком, а теперь с удивлением и глубокой жалостью смотрел на женщину, уставшую жить. Видно было, что этот страдальческий оттенок приобретен не на сцене, а за кулисами. В памяти моей невольно возник первый театральный дебют Лидочки, — теперь и следа не оставалось ее прежней наивно-пленительной простоты. Теперь она держалась перед глазами публики свободно, я сказал бы, даже слишком свободно; теперь она только улыбалась, неестественно показывая зубы, как и все до одной актрисы, так же напряженно и деревянно хохотала, так же ломала руки с вывертыванием наружу локтей. Я взглядел в афишку: оказалось, что по сцене Лидочка называется Вериной.

Едва кончилось третье действие, как я увидел Алферова, который торпливо пробирался ко мне, наступая на чужие ноги и звякая оружием по чужим коленям.

— Пойдем, голубчик, за кулисы, там все наши. Только тебя и дожидаемся. Видал Верину? Мамочка! Сейчас меня с ней обещали познакомить. Разве букет закатить? А? Как ты думаешь?

Мы пошли кругом всего театра узким неосвещенным коридором, несколько раз опускаясь и поднимаясь в совершенной темноте по каким-то лестницам. Алферов, уже знакомый с расположением театра, вел меня за руку. Мы вошли в уборную, большую сырую комнату с земляным полом и с узкой лестницей прямо на сцену. Два угла, отгороженные досками, служили мужчинам и женщинам для одевания. В облаках табачного дыма, при коптящем мерцании двух ламп, сначала трудно было что-нибудь разобрать. Народа в уборной толкалось чрезвычайно много. Из наших сюда, кроме меня, Алферова и ротмистра, забрался еще земский доктор, большой, грязный, приторный и болтливый циник. На столе, посередине комнаты, в беспорядке были разбросаны сардинки, яблоки, сыр, водка, красное вино и пирожное.

Общество было еще недостаточно знакомо и недостаточно пьяно, чтобы чувствовать себя непринужденно. Поэтому нашему приходу все очень шумно и преувеличенно обрадовались. Алферов подвел меня сначала к трем актрисам, которые подозрительно чинно сидели рядом, стеснившись на узком плетеном диванчике.

Первая — старая, очень полная женщина с добрым и смешным лицом — мне очень понравилась. Алферов сказал, что это — madame Венельская, а она сама, крепко потрянув мою руку, прибавила с улыбкой: «Комическая старуха». Другая очень бойко и отчетливо назвала себя: «Андреева-Дольская». Лицо этой особы, с курчавыми и жесткими черными волосами, с наглым взглядом больших серых глаз, с негритянским ртом, красноречиво говорило о низменных инстинктах. Третья оказалась вялой, нервной и болезненной блондинкой, немного косоватой, но недурненькой. Ее тонкая и длинная рука была холодна и влажна.

Мужской персонал отличался затасканными костюмами и полным отсутствием беля. Jeune premier<sup>1</sup>, не в меру развязный и единственный франтоватый человек во всей труппе, назывался Южиним. По-видимому, он страдал хроническим воспалением самолюбия: физиономия его ни на минуту не теряла выражения готовности немедленно обидеться.

— Вы не родственник тому, знаменитому Южину? — спросил я, желая сказать ему приятное.

Jeune premier тотчас же обиделся, заложил руки в карманы и отставил правую ногу вперед.

— То есть почему же это: знаменитому? Что он на императорской сцене? Да ведь там, если уж хотите знать, только одни бездарности и уживаются!

— Но позвольте, зачем же так строго? — спросил я как можно мягче. — Там же все средства есть, чтобы вполне изучить дело. По крайней мере, так мне кажется.

Я еще не договорил, а Южин уже начал смеяться горьким смехом.

— Вам так кажется? — воскликнул он с оскорбленным и ироническим видом. — Вам так кажется! И так будет казаться всякому, кто к делу близко не стоит, а берется судить. Вы говорите: изучить! А я вам скажу, что изучение погубило чистое искусство. Разве я могу играть на нервах зрителей, если у меня каждый жест, каждая поза вызубрена? Знаменитость! Техника, и — ни на грош чувства.

— Но как же... без разработки?

— А так же-с, — отрезал jeune premier, — очень просто. Я — например. Я на репетициях никогда не играю и роли не учу. А почему? Потому что я — артист нервный, я играю, как скажется. Эх, да разве эта публика что-

<sup>1</sup> Первый любовник (франц.) — театральное амплуа.

нибуть понимает? Вот когда я играл в Торжке с Ивановым-Козельским — меня оценили, меня принимала публика. Это я могу сказать.

— Что вы там говорите про Козельского, — вмешался чей-то женский голос. — Ваш Козельский давным-давно выдохся. Нет, вот когда я служила с Новиковым... Это — артист, я понимаю.

— А я вам доложу, что ваш Новиков — марионетка, — окрысился грубо жеupe premier, побледнев и сразу теряя наигранный апломб. — И никогда вы с ним не играли!

— А я вам доложу, что вы — нахал. Вас в Торжке гнилыми яблоками закидали, а вы говорите, что вас принимала публика!

Вскипевшая ссора с трудом была потушена антрепренером, добродушным и плутоватым толстяком.

— Арсений Петрович! Марья Яковлевна! — вопил он, кидаясь то к жеupe premier'у, то к артистке, между тем как спорящие с злыми лицами порывались друг к другу. — Ради бога! Рад-ди бога, я вас прошу. Ну разве можно? Ведь опять, как в Ряжске, полиция прикажет опустить занавес. Послушайте, господин, не имею чести знать вашего святого имечка (он подбежал ко мне и взял меня за рукав), может быть, вы повлияете? Скажите им-с! И ведь главное, не со зла все это. А знаете, вот тут, — он потер кулаком кругообразно по груди, — вот тут... кровь, знаете, горячая. Художник! Ведь умнейший человек-с. Почти всю гимназию кончил. Впрочем, сами сейчас изволили слышать, как они насчет искусства-то...

Потом этот милый импрессарио весь вечер сновал между нами и шепотом упрасивал, чтобы не давали водки актерам. Особенно беспокоился он за трагика, игравшего роль благородного потомка.

— Анчарский, душечка моя, — упрасивал он, — ведь вы же меня зарежете. Прошлый раз вас в «Лире» насилу за ноги выволокли. Для чего вам пить-с? Не пей вы этой проклятой водчищи, вы бы украшением русской сцены могли сделаться.

Трагик, старый человек с слезящимися глазами, сидел перед зеркалом и, с хрустом пережевывая огурец, расписывал себя коричневым карандашом.

— Не бойся, Иван Иванович, — успокоил он антрепренера, — Анчарский не выдаст, Анчарский знает границу! А без этого нам, трагикам, жить невозможно. Сильные ощущения!

В это время его позвали на сцену, и он неверными шагами поднялся по лестнице. Навстречу ему спускалась, держа в одной руке сумку на длинном шнурке и придерживая другою платье, Лидочка.

Не могу я вам передать, что сказала ее лицо, когда она меня увидела (я бросился к ней навстречу). На нем выразилось и усилие воспоминания, и недоумение, и тревога, и радость, мгновенно вспыхнувшая и так же мгновенно погасшая, заменившаяся сухой суровостью.

— Лидия Михайловна, — сказал я, волнуясь и заглядывая ей в глаза, — Лидия Михайловна, при каких странных условиях нам приходится встречаться!

Лидочка совсем враждебно нахмурила властные брови.

— Да, мы с вами, кажется, немного знакомы, — сказала она. — Только странного в нашей встрече я ничего не вижу.

И, отвернувшись от меня, она пошла к сидящим на диване артистам. Я в то время был слаб в знании жизни, и ее сухость глубоко меня уязвила, тем более что вся эта сцена произошла перед многочисленными зрителями и вызвала полужадушенный смехок. «За что она меня так обрезала? — думал я в замешательстве. — Я, кажется, кроме радости видеть ее, ничего не выказал».

Между тем Алферов, звякая шпорами, уже давно нес Лидочке страшную чепуху: «То высокое наслаждение, которое испытали все зрители, которые при виде той, которая сумела воплотить...» Наконец он так запутался в роковых «которых», что сконфузился и неожиданно-негаданно закончил речь громогласным требованием шампанского.

Пробки захлопали, стулья придвинулись к столу, уборная сразу наполнилась гулом мужских и женских голосов. Доктор, точно с цепи сорвавшись, начал налево и направо сыпать анекдотами, ротмистр потрясал своим могучим хохотом дощатые стены. Алферов суетился восторженно и бессмысленно, женщины быстро покраснелись, закурили папиросы и приняли свободные позы. Говорили все сразу, и никто никого не слушал. Оставалась серьезной и все время молчала одна только Лидочка. Напрасно я искал встретиться с ней глазами — мне так много хотелось сказать ей, — ее взгляд скользил по мне, как по неодушевленному предмету. На любезности Алферова она даже не считала нужным и отвечать.

Чем больше шумели «галанты и поклонники», тем больше волновался антрепренер: «Господа, прошу вас, тише, пожалуйста, потише, господа. Ведь последнее действие, самое трагическое место!.. Ради бога! Вы весь эффект испортите, господа! Вас слышно из зала...»

Но неожиданно, в самом трагическом месте драмы, из зрительной залы донесся до нас бешеный взрыв хохота и аплодисментов. Все изумленно переглянулись. Увы! Это означало только то, что Анчарский, «знавший границу», не мог подняться со стула, несмотря на усилия двух сопровождавших его тюремщиков. Когда он появился наконец на верху лестницы, ведущей в уборную, антрепренер кинулся на него с бранью, с упреками, задыхаясь от бешенства.

— Несчастный человек! Пьяница! Что вы со мной делаете! — вопил он, потрясая кулаком. — Вы ведь с голоду без меня подохли бы, я вас из грязи поднял, а вы... Как это подло, как это низко! Пропойца!..

— Друг мой! — прервал его Анчарский растроганным голосом. — Я isizeмог под сладкой тяжестью лавров. Оставь меня...

Оглянувшись вокруг, он бессильно пал рядом со мною на свободный стул и вдруг, опустив лицо в ладони, горько заплакал.

— Никто меня не понимает, — услышал я сквозь рыдания, а чей-то голос с другого конца стола запел что есть мочи:

И никому меня не жаль.

— Знаете, о чем он убивается? — вмешалась черноволосяя актриса — по-видимому, неугомонная и неуживчивая особа. — У него на прошлой неделе жена сбежала.

— Жена? Неужели? — спросил я участливо.

— Ну да, жена. Театральная жена.

— То есть как это — театральная?

— Ах, какой вы странный. Господа, посмотрите, какой он наивный. Он не знает, что такое театральная жена!

Некоторые с любопытством на меня обернулись. Я неизвестно отчего сконфузился.

— Это вас удивляет? — высокомерно обратился ко мне *jeune premier* (мне кажется, он даже назвал меня молодым человеком). — Мы — свободные художники, а не чиновники консистерии, и потому никогда не прикрываем наших отношений к женщине обрядовой ложью-с. У нас любят, когда хочется и сколько хочется. А театральная жена — только термин. Я

так называю женщину, с которой меня, кроме известных физиологических уз, связывают сценические интересы...

Он долго говорил в этом роде, но я уже не слушал его, меня беспокоило то, что под общий шум и хохот происходило на другом конце стола между Алферовым и Лидочкой. По ее сдвинутым бровям и гневно сжатому рту я заметил, что она оскорблена. Алферов был уже на третьем взводе. Он беспомощно качался взад и вперед на стуле, сился поднять закрывающиеся веки.

— Послушайте, — донесся до меня возбужденный, но сдержанный голос Лидочки, — вы меня не можете оскорбить. Я и не такую гадость слышала. Но неужели вы не понимаете, что я с вами не хочу даже говорить.

Алферов качнулся на стуле.

— К-да я не м-гу? Нас все равно не слышат. Я же от чистого сердца! Квартира, лошади и все такое... Понимаете? И чтобы что-нибудь?.. Н-ни-ни! Ни боже мой! Потом разве когда-нибудь за хорошее поведение, а теперь н-ни-ни! L'appetit vient en mangeant<sup>1</sup>. Ты чего нас подслушиваешь? — угрозил он с пьяной улыбкой, заметя мой взгляд.

Тогда и Лидочка на меня посмотрела. Глаза ее засверкали негодованием.

— Скажите, пожалуйста, — воскликнула она, умышленно возвышая голос, так, чтобы ее все слышали, — вы так обращаетесь со всеми неизвестными женщинами или только с теми, за которых не может вступиться мужчина?

Алферов опешил. Со всех сторон посыпались вопросы:

— Что такое случилось? В чем дело? Кто кого обидел?

— Какие нежности, подумаешь, — язвительно хихикнула через стол черноволосая актриса, — точно ее от этого убудет!

Лидочка перевела на нее сверкающие глаза. Щеки ее мгновенно побледнели и так же мгновенно вспыхнули ярким и неровным румянцем.

— Меня от этого не убудет, madame Дольская, — крикнула она, — а прибудет только скандальной славы про наши бродячие трупы... Вы видите: этот господин так глядит на актрису, что с первого слова предлагает ей идти на содержание. Какой же вам нужно еще обиды, если вы этого не понимаете?

Внезапно в уборной поднялся невообразимый гвалт. Актрисы закричали все разом, мужчины принялись ругаться между собою, припоминая друг другу старые счеты в виде каких-то разовых и бенефисных, упрекали друг друга в воровстве и неспособности к сцене. Земский доктор пригнулся к столу и, приставив ко рту руки в виде рупора, кричал пронзительным голосом: «Вззы его, куси его! Вззы, вз-зы!» Анчарский, заснувший было на стуле, поднялся и подошел косвенными шагами к Лидочке, стоявшей посреди кричащей группы актеров.

— Дитя мое! — завопил Анчарский, расставляя широко руки. — Боже-ственная Офелия! Преклони свою страдальческую голову на мою растерзанную грудь, и будем плакать вместе!..

Но Лидочка была близка к обмороку. Я подбежал к ней, оттолкнул трагика и схватил ее за руку. Она невольно пошла за мною, вся дрожа от волнения. Чьи-то услужливые руки накиннули на нее ротонду и платок, и мы вышли на улицу. Не знаю, слыхала ли она, но вслед нам из уборной вылетел целый поток ругани.

— Как будто бы мы не знаем, что за дрянь эта Верина, — визжала громче всех Дольская, — прикидывается угнетенной невинностью, а у самой в Тифлисе ребенок был!

<sup>1</sup> Аппетит приходит во время еды (франц.).



Крупные хлопья снега бесшумно валились на землю, мелькая, точно белые звезды, в ночной тьме. Нога ступала, как по пушистому ковру, по слою молодого, мягкого снега.

— Что же вы молчите? — раздражительно обратилась ко мне Лидочка, когда мы отошли шагов сто от театра.

— Что же здесь говорить? — пожал я плечами.

Она насильственно рассмеялась.

— А я, представьте себе, была уверена, что вы разразитесь благородным негодованием по поводу этого скандала. Давеча вы так трагически меня приветствовали! «При каких странных условиях нам приходится встречаться». О! Я отлично поняла смысл вашего восклицания, хотя, может быть, оно даже невольно у вас вырвалось. «Прежде ты была женщиной моего общества, — хотели вы сказать, — и я относился к тебе с тем условным почтением, на которое меня обязывало наше знакомство. Теперь я тебя встречаю актрисой; за мои деньги ты должна меня увеселять в продолжение двух часов. Не подумай, пожалуйста, что мы с тобой встречаемся, как равный с равным».

Я понимал, что Лидочке нужен был предлог, на который она могла бы излить вскипевшую в ней злобу, и потому продолжал молчать. Это ее, по видимому, еще более раздражало.

— И вот вы являетесь за кулисы. «Актрисы — это интересно! Легкие нравы, веселые разговоры и дешевые амуры!» Любопытно взглянуть поближе. У вас еще сравнительно довольно приличная цель. Тот пошляк прямо явился, как... А знаете, что я вам скажу? Вы вот на нас пришли как на диковинный сброд полюбоваться, а, по-моему, этот сброд чище и лучше, чем все вы, приглашенные, прилизанные и развратные. Вы видели сейчас, как мы скандальничаем, как мы пьем водку, ругаемся и принимаем подачки. Ну что же? Зато вы не видали, как те же бродячие голодные актеры, *все — целой труппой*, закладывают последние пальтишки, чтобы помочь больному товарищу! Зато вы не видали, как нас, точно доверчивых детей, как баранов, обсчитывает ловкий антрепренер! Зато вы и представить себе не сумеете, как каждый из нас страдает от вашего презрительного и развратного любопытства. О, как я ненавижу вас, покровители искусства, закулисные меценаты! Сто раз лучше тонуть в нашей грязи, чем пользоваться вашими гнусными милостями. Прощайте. Вот моя калитка. Благодарю вас за вашу любезность, хотя я и сама нашла бы дорогу.

Она отворила калитку и пошла вперед, не оборачиваясь.

— Лидия Михайловна! — воскликнул я, простирая к ней руки. — Неужели мы так и простимся? Вспомните, ведь мы никогда не были врагами.

Она остановилась.

— О чем же нам еще говорить? Разве у вас есть теперь что-нибудь общее с странствующей комедианткой? А впрочем, если уже вы хотите составить целое впечатление, то зайдите. По крайней мере, увидите, как мы живем. Что же вы остановились? Не бойтесь — у меня театрального мужа нет.

Слова ее еще продолжали быть язвительными, но тон смягчился. Должно быть, улеглась острая потребность оскорблять и чувствовать себя оскорбленной, а моя кротость еще более ее обезоружила.

Я вошел в дом. Лидочка занимала одну комнату. Что это была за комната! Крошечные окна, низкий, кривой потолок с балками внутрь, известковые стены, синие от сырости, узенькая железная кровать и стол с зеркалом, завешенным шитым полотном. Лидочка зажгла грязную лампу без абажура и опустилась на стул совершенно изнеможенная. Руки ее бессильно легли по коленам, усталые и грустные глаза неподвижно устремились

на огонь лампы. Теперь меня еще больше, чем в театре, поразило страдальческое выражение ее лица. Повинуясь безотчетному влечению жалости, я приблизился, осторожно взял одну из ее бледных, тоненьких ручек и прижал к губам. И вдруг — ласка ли моя подействовала, нервы ли усталые не выдержали — Лидочка порывисто прижала лицо к моей груди, охватила рукой шею и, вся сотрясаясь, зарыдала. Знаете, всегда так: таится-таится в человеке давнее неразделенное горе, а потом как прорвется, то и удержи нет слезам. И тут Лидочка с истерическим плачем, целуя мои руки, передала мне печальную повесть своей жизни.

После нашего московского визита к Славинскому она благополучно воротилась домой. Может быть, ее сценическое увлечение так и кончилось бы без гибельных последствий, если бы она не встретилась со своей бывшей гимназической подругой — провинциальной артисткой. Бог знает, что эту артистку заставило расхваливать свою жизнь: природная ли тупость, нечувствительность и неразборчивость, или женское хвастовство, или злой, мстительный умысел неудачницы, но встреча с подругой решила Лидочкину участь. Она поступила на сцену. Сначала она все видела в розовом свете. Внешняя сторона дела, то есть бедность, голод, долги, жалкая театральная обстановка — для нее не существовали. Но вскоре к искусству примешалась любовь. Судьба столкнула ее с артистом — его имя и теперь еще довольно известно, я не буду его называть: это красивый лгун с горячими словами и холодным сердцем. Он записал себя в российские Кины, у него были художественные странности и капризы, а Лидочка должна была восхищаться им и находить проблески гения в проявлениях его животной природы. Когда Лидочка сказала ему, что через три месяца она должна родить, он по-воровски, тайком, бросил ее на произвол судьбы. Ребенок умер. Что было потом? Целая вереница скучных дней, жалких аплодисментов по вечерам, ночных оргий... Она приучилась пить. По крайней мере, не сосет за сердце всегдашняя тоска. Родные раньше преследовали ее письмами, и она не прочь была бы возвратиться, но после ребенка в ней заговорила ее собственная, своеобразная гордость. Если она раньше не пришла, когда еще было время, то как же она могла бы прийти, вынужденная крайностью. И в этой странной гордости я узнал прежнюю Лидочку.

— Вы мне, родной мой, простите, что я вам дорогой наговорила, — просила она, глядя на меня прекрасными, умоляющими глазами. — Уж очень больно мне было. Как я вас увидала, так мне все мое прошлое и кинулось в память, хорошее такое, ничем не загрязненное. И тому, что об артистах говорила, не верьте. Уколоть мне вас хотелось, злобу свою сорвать. Помните, как мы вместе были в Москве у Славинского? Тысячу, тысячу раз он был прав. Хотя и он тоже хорош, нечего сказать!.. Только тут не тернии даже, а сплошная мерзость. Ведь нет дня, чтобы меня не оскорбляли чем-нибудь! И бросила бы я сейчас же эту проклятую сцену, да разве можно? Я обо всем, понимаете, *обо всем* своих известила; корабли нарочно за собой сожгла. С какими глазами я теперь явлюсь? Ну разве об этом можно думать! Разве можно? Ради бога, скажите: разве можно?

Столько настойчивости было в этих торопливых вопросах, так жадно они ждали моего ответа, что мне стало понятно, как часто мучила ее мысль о возвращении домой. Я по возможности простыми и искренними словами старался ее успокоить: сказал, что она не только может, но даже должна возвратиться к своим старикам, что она теперь, больная и замученная, вдвое им дороже, как матери дороже больной ребенок, что никогда не поздно отдохнуть физически и нравственно от этой тяжелой жизни.

Лидочка очень внимательно меня слушала, не выпуская моей руки и изредка глубоко и прерывисто вздыхая, как ребенок после долгого плача. Ее еще не высохшие от слез глаза заблестели радостной надеждой. Незаметно для нас самих мы перешли к нашим общим воспоминаниям и долго сидели рядом, тесно составив стулья, позабыв о приключениях этого вечера, не устая спрашивать и отвечать, точно брат и сестра после долгой разлуки. Лидочка и смеялась каким-то стыдливым, детским смехом, и вздыхала, и как будто сама не верила тому, что в ней в эти минуты происходило. Наконец, когда огонь начал потухать в лампе, я спохватился и стал прощаться.

— Я жду вас завтра, — сказала Лидочка, крепко пожимая мою руку. — Помните: как вы скажете, так и будет. Я вам так верю, что даже принять от вас помощь для меня будет легко.

И опять в эту ночь, так же как несколько лет тому назад, после моего прощания с Лидочкой, я долго не мог заснуть, и опять мне пришлось в голову сделать ей предложение. Меня растрогал рассказ о ее скитальческой жизни, и мне всеми силами хотелось дать ей отдохнуть, приласкать ее и успокоить. «Женщина, много страдавшая, должна уметь и много любить, — думал я, ворочаясь с боку на бок, — она будет самой нежной женой и матерью. И уж, конечно, если она станет моей женой, никто не посмеет упрекнуть ее позором прежней жизни».

Так я рассуждал, потому что до сих пор не встречал еще людей, похожих на Лидочку. Но вышло на другой день нечто неожиданное, странное, на мой тогдашний взгляд, даже нелепое. Вам приходилось, господа, слышать, как в церкви возглашают моление: «О всякой душе христианской, скорбящей же и озлобленной, чающей Христова утешения»? Вот Лидочка — именно и принадлежала к этим скорбящим и озлобленным. Это самые неуравновешенные люди. Треплет-треплет их судьба и так в конце концов изуродует и ожесточит, что и узнать трудно. Много в них чуткости, нежности, сострадания, готовности к самопожертвованию, доброты сердечной, а с другой стороны — гордость сатанинская, обидчивая и нелепая гордость, постоянное сомнение и в себе и в людях, склонность во всех своих ощущениях копаться и, главное, какой-то чрезмерный, дикий стыд. Нашла минута — отдаст он вам душу, самое дорогое и неприкосновенное перед вами выложит, а прошла минута — и он вас сам за свою откровенность уже ненавидит и торопится облегчить себя оскорблением. Позднее я догадался, что и Лидочка была из числа этих загнанных судьбою.

Утром меня разбудил денщик Алферова (самого корнета так всю ночь и не было дома). Подает мне Кирилл записку, у меня и сердце екнуло.

— От кого? — спрашиваю.

— Не могу знать, ваше высокоблагородие. Какой-то жидочек приносил. Сказывает, ответа не нужно, а сам ушел.

Записка была от Лидочки.

«Милостивый государь Николай Аркадьевич, — писала Лидочка, — я думаю, вам не менее меня стыдно за вчерашнее. Все, что я вам говорила, — следствие минутной слабости нервов. Как вы ни великолепы с вашим благоразумием, я предпочитаю свою свободу и любимое дело, которому я буду служить так же, как и другие, не мудрствуя и не осуждая. Пишу вам второпях, потому что меня дожидают лошади Алферова. Повторяю еще раз, что, кроме взаимного стыда, между нами ничего быть не может».

Я посмотрел на часы — было уже далеко за полдень, — поспешно оделся и кинулся на поиски за Лидочкой. На ее квартире старая и грязная еврейка сказала мне, что «барышня только что уехали». «Таких было хороших двоих коней ув коляска, точно у габирнатора». Я долго находился бы в

затруднении, куда отправиться дальше, если бы меня не осенила мысль заехать в театр. Действительно, не доходя еще до уборной, я услышал в ней шум многочисленной компании. Я отворил дверь, и моим глазам представилась следующая сцена.

Посреди комнаты, на столе, уставленном пустыми и целыми бутылками от шампанского, стояла Лидочка, растрепанная, раскрасневшаяся, с бокалом в высоко поднятой руке. Кругом нее, стоя и сидя, толпились: Алферов, доктор, ротмистр и еще человек пять-шесть наших городских шапоаев. В глубине комнаты, глядя с недоумением и некоторой тревогой на происходившее, стояла группа артистов. Моего появления никто не заметил, потому что внимание всех было поглощено тем, что в эту минуту Лидочка с выразительной жестикуляцией пела с своего возвышения:

Какой обед нам подавали!  
 Каким вином нас угощали!  
 Уж я пила, пила, пила  
 И до того теперь дошла,  
 Что, право, готова... готова...  
 Ха-ха-ха-ха-ха...  
 Тсс... об этом ни слова!

И вдруг наши глаза встретились. Она мгновенно побледнела, пошатнулась, и бокал со звоном и дребезгом покатился по полу. Все обернулись на меня.

— Господа, — закричала Лидочка, злобно блеснув глазами, — кто хочет пить вино из моей туфли?

— Я, я, я! — раздалось сразу несколько голосов.

— Всем сразу нельзя. Алферов, сними!..

И она протянула свою маленькую ножку Алферову. Тот снял туфлю и поставил в нее бокал.

— Выпьем за здоровье Николая Аркадьевича, — продолжала возбужденно Лидочка. — Он вчера ночью обращал меня на путь спасения. Да здравствуют добродетельные молодые люди!

— Уррра! — заорала громогласно подкутившая компания.

— У него, однако, губа не дура, — перекричал всех доктор, — дайте ему за это вина!

Меня охватила злорада.

— Поздравляю вас, Лидия Михайловна, — сказал я с насмешливо низким поклоном. — Вы действительно превосходная артистка, но я теперь только понял, какие побуждения влекли вас на сцену.

Я вышел из уборной, сопровождаемый общим хохотом. Впрочем, не все ли мне было равно? Настоящей подкладки этой дурацкой сцены никто не знал, хотя смешная-то роль, во всяком случае, выпала на мою долю... Да и что говорить: злая роль, мстительная и несправедливая...

1894

## ЗАБЫТЫЙ ПОЦЕЛУЙ

Это случилось в те далекие времена, которые давным-давно сделались для нас мифом.

В спальню маленького королевского сына, сквозь не закрытое ставнем узкое и длинное готическое окно с причудливой чугунной решеткой, ярко

светил месяц. Его лучи ложились на всё нежными фосфорическими пятнами. Под их прикосновением резко и таинственно выделялись из мрака: то затейливый узор персидского ковра, то высокая и прямая спинка резного кресла, то серебристый мех распластанной на полу звериной шкуры, то складки измятого кружева, то перламутровая инкрустация игрушечного колчана и золоченые концы высыпавшихся из него стрел...

Ночь длилась, а светлое пятно на полу, причудливое и правильное, передвигалось с места на место. Наконец оно осветило и колыбель принца. Он лежал, разметавши ручки, нагой, весь розовый, с улыбкой на пурпурных полуоткрытых губках. Когда лучи месяца упали на его лицо, он вздохнул во сне и перевернулся на спину.

А в каскаде лунных лучей в это время купались прекрасные феи весенней ночи. Они, взявшись за руки, сплетались в хоровод, быстро кружились в нем и опять расплетались в длинную подвижную вереницу. При сиянии месяца их тела казались совсем прозрачными; их распущенные волосы волнами падали на плечи; они пели, смеялись и, обнявши друг друга, подымались и опускались в потоках света...

Одна из них заметила спящего маленького принца. Отстав от своих подруг, она приблизилась к его колыбели и, обвинившись вокруг него, поцеловала его в полуоткрытые губы. Он вздрогнул, проснулся, протянул ручки, но прекрасная фея была уже далеко, увлекаемая своими беспечными подругами в веселый хоровод.

Принц рос. Старый король, глядя на него, сокрушенно качал седой головой. Его будущий наследник не любил ни охоты, ни стрельбы из лука, ни воинственных боевых песен. Он охотнее проводил время в кругу придворных дам и слушал их разговоры, положив одной из них на колени кудрявую голову. Он искал их ласк и любил прикосновение их нежных рук. «Он не будет настоящим королем», — шептал задумчиво отец. «Он не будет настоящим королем», — повторяли за ним придворные.

Старый король умер, и его сын наследовал престол. Но он не продолжал воинственных завоеваний предков, не предавался охоте за дикими кабанами, зубрами и медведями, не устраивал пышных турниров, не проводил ночей в кругу свиты за громадным золотым кубком старого вина, при красном свете смоляных факелов. Изнеженный и праздный, он окружил себя прекраснейшими женщинами страны и переходил от одной к другой, из объятий в объятия, от уст к устами. Он был прекрасен, высокий и стройный, как девушка, с неотразимыми глазами, черными, задумчивыми и томными.

Но молодой король не знал счастья. Тайная грусть никогда не покидала его сердца и против воли отражалась на его челе. Жадной душой он искал в объятиях женщин чего-то непонятного для него самого, чего-то дорогого и совершенно забытого...

Иногда, при встрече с новой красавицей, ему казалось, что забытое начинает принимать уже ясный образ, и он стремился к красавице так же страстно, как цветок стремится к солнечным лучам... Он уже чувствовал, как непонятное начинает принимать осязаемые формы. Горя и волнуясь, он выслушивал признания и мольбы... Но охладевал с первым поцелуем... Тайна опять бесследно исчезала из его памяти.

Наконец поиски за невозможным утомили его. Он стал бледнеть и слабеть с каждым днем. Его ввалившиеся глаза никогда больше не загорались улыбкой...

Однажды ночью, лежа в своей кровати под пышным балдахинном, увенчанным короной, он почувствовал близость смерти и стал припоминать

всю свою жизнь и вспомнил все, кроме забытого. «Неужели же я умру, не вспомнив?» — прошептал, ломая руки и метаясь на своем ложе, умирающий король.

В это мгновение яркий луч месяца упал на его глаза, чьи-то прозрачные обнаженные руки обвили его шею, чьи-то губы, дрожащие от радостного смеха, приникли к его губам.

И король вспомнил... Он протянул руки вслед улетающему видению... Но руки опустились безжизненно, а на мертвом лице застыло выражение нестерпимого блаженства...

1894

## БЕЗУМИЕ

«...Весь день я хожу унылый, обессиленный, сгорбленный. Суета и шум болезненно бьют по моим опустившимся нервам, дневной свет режет мои слабые глаза.

Работа мне опротивела, и я уже давно не прикасаюсь к кисти, — с того самого времени, когда мне была за моих «Вакханок» присуждена золотая медаль. Начатые картины висят на стенах и на мольбертах, покрытые паутиной. О! Если бы мне удалось передать на полотне то, что уже давно овладело моими грезами и снами! Мне кажется, что если бы кто-нибудь сумел всю мощь, все напряжение таланта вылить в одном произведении, — он навеки обессмертил бы свое имя. Но возможно ли это для человека?..

Длинный, скучный день проходит, вечерние тени сгущаются, и мной овладевает странная, давно знакомая тревога... Я опускаю занавеси, зажигаю свечу и жду сна.

И каждый раз, когда я засыпаю, меня посещает одно и то же видение. В комнату мою входит женщина в белой длинной одежде, — в такой одежде, какую носили женщины Греции и Рима. Руки ее бессильно падают вдоль боков, голова поникла... Лицо ее страшно бледно, длинные черные ресницы опущены, вся она кажется сотканной из того тумана, который поднимается по ночам от гнилых болот, но губы необычайно ярки и чувственны. Странная женщина медленно подходит ко мне, ложится со мною рядом и обнимает меня... Я холодею в ее объятиях, но ее страшные губы жгут меня. Я чувствую, что с каждым поцелуем она пьет мою жизнь медленными глотками... Это дьявольское, мучительное блаженство продолжается до самого утра, до тех пор, пока в изнеможении я не забываюсь тяжелым сном без всяких образов и видений...

Приходит утро, и опять тянется скучный, серый день... Я с ужасом думаю о наступающей ночи и в то же время с нетерпением жажду ее. И все время мне кажется, что около меня незримо витает милый, странный, таинственный и туманный образ.

Приходит ночь и с нею — то же видение... Чем это кончится? Я ослабел, грудь моя ноет, я чувствую, что оргические ночи понемногу истощают мою жизнь... Может быть, я скоро умру или сойду с ума? Но раньше этого мне все-таки хотелось бы перенести на полотно то, что меня мучит...»

На этом кончается дневник художника. Его картина была выставлена на последней передвижной выставке. Она изображала женщину в белой греческой одежде. Фигура, руки, плечи, складки полотна, казалось, были написаны ученической кистью, полинялыми, затхлыми красками. Критики единогласно признали картину неудовлетворительным подражанием импрессионистам, но между тем и они и публика простаивали перед ней

много минут в немом изумлении. Вся сила картины сосредоточилась в лице. Это странное, бледное лицо с опущенными ресницами, из-под которых вот-вот готовы были выглянуть пламенные, греховные глаза, это лицо с пунцовыми губами вампира неотразимой силой приковывало к себе внимание всех посещавших выставку.

P.S. Картина куплена известным московским меценатом за шесть тысяч рублей. На эти деньги автор содержится друзьями в привилегированном заведении для душевнобольных.

1894

## НА РАЗЪЕЗДЕ

В вагон вошел кондуктор, зажег в фонарях свечи и задернул их полотняными занавесками. Сетки с наваленными на них чемоданами, узлами и шляпами, фигуры пассажиров, которые или спали, или равномерно и безучастно вздрагивали, сидя на своих местах, печь, стенки диванов, складки висящих одежд — все это потонуло в длинных тяжелых тенях и как-то странно и громоздко перепуталось.

Шахов нагнулся вперед, чтобы увидеть лицо своей соседки, и тихо спросил:

— Что? Очень устали, Любовь Ивановна?

Она поняла его желание. Повинуясь бессознательному и тонкому инстинкту кокетства, она отделила тело от спинки дивана и улыбнулась.

— Нет-нет, мне хорошо.

Лежащая против разговаривающих и покрытая серым шотландским пледом фигура грузно перевернулась с боку на спину.

— Не понимаю, Люба, что здесь хорошего? — пробурчал из-под пледа осипший от дороги мужской голос.

Ни Любовь Ивановна, ни Шахов не отвечали, но нежная улыбка, беспричинная и волнующая улыбка первых намеков сближения, мгновенно сбежала с их лиц.

Шахов ехал из Петербурга в Константинополь и затем в Египет. Эта поездка была его давнишней, заветной мечтой, но до сих пор ее исполнению мешали то недостаток времени, то недостаток средств. Теперь, продав небольшое имение, он собрался в дорогу, счастливый и беспечный, с одним легким чемоданом в руках.

И вот уже двое суток, начиная от самого Петербурга, странная прихоть судьбы сделала его неразлучным спутником и собеседником очаровательной женщины, которая с каждым часом нравилась ему все больше и больше. Что-то непонятное, привлекательное и совсем не похожее на прозу обыденной жизни казалось Шахову в этом быстром и доверчивом знакомстве. Ему нравилось подолгу глядеть на ее тоненькую, изящную фигурку, на ее разбившиеся пепельные волосы, на нежные глаза, окруженные тенью усталости. Ему нравилось сквозь ритмический грохот вагонов слышать ее мягкий голос, когда им обоим благодаря шуму приходилось близко наклоняться друг к другу.

Когда наступали сумерки, непонятное и привлекательное становилось совсем сказочным... Милое лицо начинало то уходить вдаль, то приближаться; каждую минуту оно принимало все новые и новые, но знакомые и прекрасные черты... И под размеренные звуки летящего поезда Шахову все напевались звучные стихи: «Свет ночной, ночные тени... тени без конца... ряд волшебных изменений милого лица».

Иногда он нарочно ронял платок или спичечницу на пол, чтобы украдкой заглянуть ближе в ее лицо, и каждый раз глаза его встречали ее ласково остановившуюся на нем улыбку...

Потом наступала ночь... Не было слышно ничего, кроме грохотания поезда и дыхания спящих. Он уступал ей тогда свое место, но она отказывалась. И они садились рядом друг с другом, совсем близко, и разговаривали до тех пор, пока у нее не падал от усталости голос. Тогда он с дружески шутливой настойчивостью уговаривал ее ложиться. О чем они разговаривали — пожалуй, оба на другой день не дали бы себе отчета. Так разговаривают два близких друга после долгой разлуки или брат с сестрою... Один только скажет два слова, чтобы выразить длинную и сложную мысль, а другой уже понял. И первый даже и не трудится продолжать и разжевывать дальше — он уже по одной улыбке видит, что его поняли, — а впереди есть еще столько важного и интересного, что, кажется, и времени не хватит все передать. Оживленный и радостный разговор скользит, извивается, капризно перебрасывается с предмета на предмет и все-таки не утомляет собеседников.

Шахову приходилось не раз в жизни сталкиваться с женщинами умными и красивыми, красивыми и глупыми, умными и некрасивыми и, наконец, с женщинами и глупыми и некрасивыми. Но никогда еще он не встречал женщины, которая так бы с полуслова понимала его и так бы живо и умно интересовалась всем тем, чем и он интересовался, как Любовь Ивановна, которую он знал всего вторые сутки. Только все, что у него было заочно, резко и горячо, — у нее облекалось в какую-то неуловимо милую и нежную доверчивость, соединенную с изяшной простотой. И лицом ее, немного бледным и утомленным, он не уставал любоваться во все время дороги.

Шахов с непривычки не умел спать в вагоне. Несколько раз ночью проходил он мимо того дивана, на котором спала Любовь Ивановна. И каждый раз — впрочем, может быть, он и ошибался — ему казалось, что она следит за ним своими ласкающими глазами.

Утром они встречались. Следы сна, которые так неприятно изменяют самые хорошенькие лица, совсем не портили ее лица. К ней все шло — и развившиеся волосы, и расстегнувшаяся пуговица воротника лифа, позволявшая видеть прекрасные очертания шеи, и томный, ослабевший взгляд. В продолжение дня ему нравилось оказывать ей разные мелкие услуги при пересадках и во время обедов и ужинов на станциях. Еще больше ему нравилось то, что она принимала его услуги без ломанья и без приторного избытка благодарностей. Она видела, что такая внимательность с его стороны к ней доставляет ему удовольствие, — и это было ей приятно.

Зато всю прелесть этого быстрого сближения портил господин Яворский — муж Любви Ивановны. Трудно было придумать более типичную бюрократическую физиономию: выбритый жирный подбородок, окаймленный круглыми баками, желтый цвет лица, снабженного всякими опухольями, складками и обвислостями, стеклянно-неподвижные глаза... Господин Яворский не умел и не мог ни о чем говорить, кроме своей персоны. И тем у него было только две: петербургские сплетни в сфере чиновничьего мира и собственные ревматизмы и геморрои, которые он ехал теперь купать в одесских лиманах. Болезни служили особенно излюбленным предметом разговора. О них он говорил с видимой любовью, громко, подробно и невыносимо скучно, говорил со всяким желающим и нежелающим слушать, говорил так, как умеют говорить только самые черствые себялюбцы.

С женой он обращался то язвительно-нежно, на «вы», то умышленно деспотично. Она, по летам, годилась ему в дочери, и Шахову казалось, что



муж на нее смотрит, как на благоприобретенную собственность. Он заставлял ее покрывать ему ноги пледом, брюзжал на нее с утра до вечера, карикатурно и отвратительно-злобно передразнивал почти каждую из ее робких, обращенных к нему фраз. Встречая в этих случаях взгляд молодого художника, Яворский глядел на него так, как будто бы хотел сказать: «Да, да, вот и погляди, как у меня жена выдрессирована; и всегда будет так, потому что она моя собственная жена».

— Я вас вторично спрашиваю, Любовь Ивановна: угодно ли вам будет почтить меня своим милостивым ответом? — спросил язвительно Яворский и приподнялся на локте. — Что вы, именно, находите хорошим?

Она отвернулась к окну и молчала.

— Ну-с? — продолжал Яворский, выдержав паузу. — Или вы находите, что другим ваши замечания могут быть интереснее, чем вашему мужу? Что-с?

— Любовь Ивановна сказала мне, что ей удобно сидеть, — вмешался Шахов.

— Хе-хе-хе... очень вам благодарен за разъяснение-с, — обратился Яворский к художнику. — Но мне все-таки желательнее было бы лично выслушать ответ из уст супруги-с.

Любовь Ивановна нетерпеливо и нервно хрустнула сложенными вместе пальцами.

— Я не знаю, Александр Андреевич, почему это вас так заняло, — сказала она сдержанным тоном. — Monsieur Шахов спросил меня, удобно ли мне, и я отвечала, что мне хорошо. Вот и все.

Яворский приподнялся совсем и сел на диван.

— Нет, не все-с. Во-первых, Люба, я просил тебя не называть меня никогда Александром Андреевичем. Это — вульгарно. Так зовут только купчихи своих мужей. Я думаю, тебе не трудно называть меня Сашей или просто Александром. Я думаю, что господину художнику отнюдь не покажется странным то обстоятельство, что жена называет своего мужа уменьшительным именем. Не правда ли, господин художник? А во-вторых, супружество, налагая известные обязанности на мужа и жену, требует с обеих сторон взаимной внимательности. И потому...

И он долго и растянуто говорил о обязанностях хорошей жены. Любовь Ивановна сидела, низко опустив голову. Шахов молчал. Наконец Яворский утомился, прилег и продолжал лежа свои разглагольствования. Потом он совсем замолчал, и вскоре послышалось из-под пледа его всхрапывание.

После долгого молчания Шахов первый начал разговор.

— Любовь Ивановна, — сказал он, соразмеряя свой голос так, чтобы он не был за стуком колес слышен, — мы с вами так о многом говорили... Почему же... Я боюсь, впрочем, показаться нескромным и, может быть, даже назойливым...

Она сразу схватила то, что он хотел сказать.

— О нет, нет, — живо возразила она. — Это ничего, что наше знакомство слишком коротко... Знаете... знаете... — Она запнулась и искала слова. — Хоть это и странно, может быть, да ведь и все у нас с вами как-то странно складывается... Но мне кажется, что я вам все бы, все могла рассказать, что у меня на душе и что со мной было. Так бы прямо, без утайки, как своему... — она остановилась и, сконфузившись своего мгновенного порыва, не договорила слова «брату».

Шахова эта вспышка доверчивости и тронула, и ужасно обрадовала.

— Вот, вот, я об этом и хотел сказать, — торопливым шепотом заговорил он. — Ах, как хорошо, что вы так сразу меня поняли. Расскажите мне о себе побольше... только, чтобы вам самой это не было больно... Ведь как много мы с вами переговорили, а я до сих пор ничего о вашей жизни не знаю... Только не стыдитесь... И завтра не стыдитесь... Может быть, мы и разведемся через четверть часа, и не встретимся никогда больше, но все-таки это будет хорошо.

— Да, да... Это — хорошо... И — правда? — как-то смело... ново... одним словом, хорошо! Да?

— Оригинально?

— Ах, нет. Не то, не то! Оригинально — это в романах, это придуманное... А здесь что-то свежее... Ничего такого больше не повторится, я знаю... И всегда будешь вспоминать. Правда?

— Да. А вам никогда не приходила в голову мысль, что самые щекотливые вещи легче всего поверять...

— Тому, с кем только что встретишься?

— Да, да... Потому что с близким знакомым уже есть свои прежние отношения. Так по ним все и будет мериться... Но мы с вами отклоняемся. Пожалуй, и не дойдем до того, о чем стали говорить. Рассказывайте же о себе.

— Хорошо... Но я затрудняюсь только начать... И кроме того, я боюсь, чтобы не вышло по-книжному.

— Ничего, ничего. Рассказывайте, как знаете. Ну, начинайте хоть с детства. Где учились? Как учились? Какие были подруги? Какие планы строили? Как шалили?

В это время поезд с оглушительным грохотом промчался по мосту. Мимо окон быстро замелькали белые железные полосы мостового переплета. Когда грохот сменился прежним однообразным шумом, Яворский вдруг сразу перестал храпеть, перевернулся, поправил под головой подушку и что-то произнес. Шахов послышалось не то «черт побери», не то «спать только мешают!». Любовь Ивановна и Шахов замолчали и с возбужденно-нетерпеливым ожиданием глядели на спину Яворского. В этом молчании оба чувствовали что-то неловкое и в то же время сближающее.

— Ну, говорите, говорите, — шепнул наконец Шахов, убедившись, что Яворский опять заснул.

Она рассказывала сначала неуверенно, запинаясь и прибегая к искусственным оборотам. Шахов должен был ей помогать наводящими вопросами. Но постепенно она увлеклась своими воспоминаниями. Она сама не замечала, как ее душа, до сих пор лишенная ласки и внимания, точно комнатный цветок — солнца, радостно распускалась теперь навстречу теплым лучам его участия к ней. Язык у нее был своеобразно-меткий, порой с наивными институтскими оборотами.

Любовь Ивановна не помнила ни отца, ни матери. Троюродной тетке как-то удалось поместить ее в институт. Время учения было для нее единственным светлым временем в жизни. Несчастье ждало ее в последнем классе. Та же тетка, совсем забывшая Любу в институте, однажды взяла ее в отпуск и познакомила с надворным советником Александром Андреевичем Яворским. С тех пор надворный советник аккуратно каждое воскресенье под именем дяди появлялся в приемной зале института с пирожками от Филиппова и конфетами от Гранже. Любовь Ивановна, беспечно смеясь вместе с подругами над дядей, так же беспечно поедала дядины конфеты, не придавая им особенно глубокого смысла.

Бедная институтка, конечно, не могла и подозревать, что Александр Андреевич давно уже взвесил и рассчитал свои на нее виды. В минуту откровенности, сладострастно подмигивая глазком, он уже не раз говорил друзьям о невесте.

«Дураки только, — говорил он, — женятся рано и черт знает на ком. Вот я, например. Женюсь, слава богу, в чинах и при капитальце-с. Да и невеста-то у меня будет прямо из гнездышка... еще тепленькая-с... Из такой что хочешь, то и лепишь. Все равно как воск».

— Да и наивная я уж очень была в то время, — рассказывала Любовь Ивановна. — Когда он был женихом, мне, пожалуй, и нравилось. Букеты... брошки... брильянты... приданое... тонкое бельё... Только когда к венцу повезли, я тут все и поняла. Плакала я, упрашивала тетку расстроить брак, руки у нее целовала... не помогло... А Александр Андреевич нашел даже, что слезы ко мне идут. С тех пор я так и живу, как видите, четыре года...

— Детей у вас, конечно, нет? — спросил Шахов.

— Нет. Ах, если бы были! Все-таки я знала бы, для чего вся эта бессмыслица творится. К ним бы привязалась. А теперь у меня, кроме эта, и утешения никакого нет...

Она среди разговора не заметила, как поезд замедлял ход. Сквозь запотевшие стекла показалась ярко освещенная станция. Поезд стал.

Разбуженный тишиною Яворский проснулся и быстро сел на диване. Он долго протирал глаза и скреб затылок и, наконец, недовольно уставился на жену.

— Ложись спать, Люба, — сказал он отрывисто и хрипло. — Черт знает что такое! И о чем это, я не понимаю, целую ночь разговаривать? Все равно путного ничего нет. — Яворский опять почесался и покосился на Шахова. — Ложись вот на мое место, а я сидеть буду.

Он приподнялся.

— Нет, нет, Саша, я все равно не могу заснуть. Лежи, пожалуйста, — возразила Любовь Ивановна.

Яворский вдруг грубо схватил ее за руку.

— А я тебе говорю — ложись, и, стало быть, ты должна лечь! — закричал он озлобленно и выкатывая глаза. — Я не позволю, черт возьми, чтобы моя жена третью ночь по каким-то уголкам шепталась... Здесь не номера, черт возьми! Ложись же... Этого себе порядочный человек не позволит, чтобы развращать замужнюю женщину. Ложись!

Он с силой дернул кверху руку Любви Ивановны и толкнул при этом локтем Шахова. Художник вспыхнул и вскочил с места.

— Послушайте! — воскликнул он гневно, — я не знаю, что вы называете порядочностью, но, по-моему, насилие над...

Но ему не дала договорить Любовь Ивановна. Испуганная, дрожащая, она бессознательно положила ему руку на плечо и умоляюще шептала:

— Ради бога! Ради бога...

Шахов стиснул зубы и молча вышел на платформу.

Ночь была теплая и мягко-влажная. Ветер дул прямо в лицо. Пахло сажей. Видно было, как из трубы паровоза, точно гигантские клубы ваты, валит дым и неподвижно застывал в воздухе. Ближе к паровозу эти клубы, вспыхивая, окрашивались ярким пурпуром, и чем дальше, тем мерцали все более и более слабыми тонами.

Шахов задумался. Его попеременно волновали: то жалость и нежность к Любви Ивановне, то гнев против ее мужа. Ему было невыразимо грустно при мысли, что через два-три часа он должен ехать в сторону и уже ни-

когда больше не возобновится встреча с этой очаровательной женщиной... Что с ней будет? Чем она удовлетворится? Найдется ли у нее какой-нибудь исход? Покорится ли она своей участи полурабы, полуналожницы, или, — об этом Шахов боялся думать, — или она дойдет наконец до унижения адюльтера под самым носом ревнивого мужа?

Шахов и не заметил, как простоял около получаса на платформе. Опять замелькали огни большой станции. Поезд застучал на стыках поворотов и остановился. «Станция Бирзула. Поезд стоит час и десять минут!» — прокричал кондуктор, проходя вдоль вагонов. Шахов машинально засмотрелся на вокзальную суету и вздрогнул, когда услышал сзади себя произнесенным свое имя.

— Леонид Павлович!

Он обернулся. Это была Любовь Ивановна.

Инстинктивно он протянул ей руки. Она отдала ему свои и отвечала на его пожатие долгим пожатием, глядя молча ему в глаза.

— Леонид Павлович, — быстро и взволнованно заговорила она. — Только десять минут свободных. Мне бы хотелось... Только, ради бога, не откажите... Мне давно... никогда не было так хорошо, как с вами... Может быть, мы больше не увидимся. Так я хотела вас просить взять на память... Это мое самое любимое кольцо... и главное — собственное... Пожалуйста!..

И она, торопясь и конфузясь, сняла с пальца маленькое колечко с черным жемчугом, осыпанным бриллиантиками.

— Дорогая моя Любовь Ивановна, как все в вас хорошо! — воскликнул Шахов. Он был растроган и чувствовал, что слезы шиплют ему глаза. — Дорогая моя, зачем мы с вами так случайно встретились? Боже мой! Как судьба иногда зло распоряжается! Я не клянусь: ведь вы знаете, что мы никогда друг другу не солгали бы. Но я ни разу, ни разу еще в моей жизни не встречал такого чудного существа, как вы. И главное, мы с вами как будто нарочно друг для друга созданы... Простите, я, может быть, говорю глупости, но я так взволнован, — так счастлив и... так несчастлив в то же время. Бывает, что два человека, как две половины одной вазы... Ведь сколько половинок этих на свете, а только две сойдутся. Благодарю вас за кольцо. Я, конечно, его беру, хотя и так я всегда бы вас помнил... Только, боже мой, зачем не раньше мы с вами встретились!

И он держал в своих руках и нежно сжимал ее руки.

— Да, — сказала она, улыбаясь глазами, полными слез, — судьба иногда нарочно смеется. Смотрите: стоят два поезда. Встретились они и разойдутся, а из окон два человека друг на друга смотрят и глазами провожают, пока не скроются из виду. А может быть... эти два человека... такое бы счастье дали друг другу... такое счастье...

Она замолчала, потому что боялась разрыдаться.

— Второй звонок! Бирзула — Жмеринка! Поезд стоит на втором пути-и! — закричал в зале первого класса протяжный голос.

Внезапно дерзкая мысль осенила Шахова.

— Любовь Ивановна! Люба! — сказал он, задыхаясь. — Садимся сейчас на этот поезд и обратно. Ради бога, милая. Ведь целая жизнь счастья. Люба!

Несколько секунд она молчала, низко опустив голову. Но вдруг подняла на него глаза и ответила:

— Я согласна.

В одно мгновение Шахов уже был на полотне и на руках бережно переносил Любовь Ивановну на платформу другого поезда.

Раздался третий звонок.

— Кондуктор! — торопливо крикнул Шахов, сбегая по ступенькам с платформы. — Вот в этом вагоне с той стороны сидит господин... Полный, в бакенбардах, в фуражке с бархатным черным околышем. Скажите ему, что барыня села и уехала благополучно с художником. Возьмите себе на чай.

Свисток на станции. Свисток на паровозе. Поезд тронулся.

На платформе никого не было, кроме Шахова и Любови Ивановны.

— Люба, навсегда? На всю жизнь? — спросил Шахов, обвивая рукой ее талию.

Она не сказала ни слова и спрятала свое лицо у него на груди.

1894

## НОЧЛЕГ

В последних числах августа, во время больших маневров, N-ский пехотный полк совершал большой, сорокаверстный переход от села Больших Зимовец до деревни Нагорной. День стоял жаркий, палящий, томительный. На горизонте, серебряном от тонкой далекой пыли, дрожали прозрачные волнующиеся струйки нагретого воздуха. По обеим сторонам дороги, куда только хватал глаз, тянулось все одно и то же пространство сжатых полей с торчашими на нем желтыми колючими остатками соломы.

След отряда издали обозначался длинной извилистой и узкой лентой желтоватой пыли. Солдаты шли, совершенно окутанные ею. Пыль скрипела во рту, садилась на вспотевшие лица и делала их черными. Только зубы да белки глаз сверкали своею белизною на этих измученных, исхудавших, казавшихся суровыми лицами. Согнувшись под тяжестью ранцев и надетых поверх их скатанных в кольца шинелей, солдаты шли молча, вздрагивая, едва волоча усталые ноги. Лишь изредка, когда чей-нибудь штык с лязганьем задевал о соседний штык, из рядов слышалось грубое, озлобленное ругательство. Люди не высypались и томились от зноя, усталости и жажды. Некоторые вяло, без всякого аппетита, чтобы только чем-нибудь сократить время длинного и скучного перехода, жевали на ходу розданный утром хлеб.

Офицеры шли не в рядах — вольность, на которую высшее начальство смотрело в походе сквозь пальцы, — а обочиною, с правой стороны дороги. Их белые кителя потемнели от пота на спинах и на плечах. Ротные командиры и адъютанты дремали, сторбившись и распухнув поводья, на своих худых, бракованных лошадях. Каждому хотелось как можно скорее во что бы то ни стало дойти до привала и лечь в тени.

Поручик Авилов, болезненный, молчаливый и нервный молодой человек, шел против первого ряда своей одиннадцатой роты. Новые сапоги сильно жали ему ноги, португепя оттягивала плечо, в голове мягко и тяжело билась кровь. Но более всего угнетала Авилова всегда овладевавшая им во время похода тупая скука, от которой он старался избавиться каким-нибудь мелким занятием. То он срывал с придорожной ивы гибкий хлыст и отчищал его зубами и ногтями от коры, то старательно сшибал шашкою пунцовые головки колючего репейника, то наметив вдаль какой-нибудь пункт, старался угадать, сколько до него шагов, и потом проверял себя. Наконец, когда все это ему надоедало, он принимался «мечтать», как, бывало, делал еще в корпусе за всенощной, чтобы убить время. Он мысленно спрашивал себя: «Ну, о чем же теперь?» — и начинал перебирать в уме все, что могло бы ему доставить удовольствие или что раньше заинтересовало его воображе-

ние в слышанном и прочитанном. Иногда он представлял себя известным путешественником вроде Пржевальского или Елисеева. Он собирал экспедицию из отважных, закаленных в перенесении трудов и опасностей авантюристов, которые трепетали перед одним его взглядом. Он открывал неизведанные еще острова и земли и водружал на них русский флаг. Имя его гремело по всему свету. Когда он возвращался в Россию, ему устраивали шумные встречи. Женщины бросали ему цветы и в восхищении шептали одна другой: «Вот он, вот тот, самый знаменитый!» Иногда он воображал, что маневры уже окончились и он идет со своей ротой на вольные работы к какому-нибудь помещику, баснословно богатому и непременно с аристократическим именем. У помещика есть дочь — бледная, задумчивая красавица. Светские кавалеры давно опротивели ей своей бесцветной пустотой, и она с первого взгляда же влюбляется в простого пехотного поручика, бедного и гордого, постоянно замкнутого в себе, «с печатью разочарования на челе». Лунная ночь, свидание в старом запущенном саду, пламенные признания в любви... «Нам необходимо расстаться, — говорит мрачно Авилов, — ты богата, а я нищий, мы не будем никогда счастливы». Помещицья дочь плачет у него на груди, он утешает ее. Из-за кустов неожиданно появляется сам помещик, растроганный, со слезами на глазах. «Дети мои, — говорит помещик, — я хочу, чтобы вы любили друг друга. Не деньги, а истинная любовь приносит людям счастье». С этими словами он благословляет влюбленных; все трое обнимаются и плачут. Через несколько дней в приказе по полку товарищи с удивлением и завистью читают, что поручик Авилов, рапортом за № таким-то, просит разрешения на вступление в первый законный брак с девицею, княжною Зэт...

Порою фантазия так ярко рисовала ему эти сцены, что и дорога, и пыль, и серые, однообразно шагающие ряды солдат переставали для него существовать. Он шел с низко опущенной головой, с неопределенной улыбкой на губах, с расширившимися и потемневшими неподвижными глазами. Несколько верст уходили незаметно, и когда Авилов просыпался от своих грез, перед ним уже расстилалась совершенно новая местность.

Вечерние тени удлиннились. Солнце стояло над самой чертой земли, окрашивая пыль в яркий пурпуровый цвет. Дорога пошла под гору. Далеко на горизонте показались неясные очертания леса и жилых строений.

Навстречу отряду тянулся бесконечный крестьянский обоз. При приближении солдат хохлы медленно, один за другим, сворачивали своих громадных, серых, круторогих, ленивых волов с дороги и снимали шапки. Все они, как один, были босиком, в широчайших холщовых штанах, в холщовых же рубахах. Из расстегнутых воротов рубах выглядывали обнаженные шеи, темно-бронзовые от загара и покрытые бесчисленными мелкими морщинами.

По мере того как солдаты проходили мимо обоза, из рядов сыпались нетерпеливые вопросы:

- Дядька, а далеко еще до Нагорной?
- Земляк, сколько верст осталось до Нагорной?
- Что, братцы, это там Нагорная видна?

Хохлы, лениво, с расстановкой отвечали, что до Нагорной «версты три або четыре, мабудь, е, с гаком». Солдаты ободрялись, поднимали выше головы и невольно прибавляли шаг.

Через четверть часа внизу, в глубокой ложине, блеснула синяя широкая лента реки. Солнце село. Запад пылал целым пожаром ярко-пурпуровых и огненно-золотых красок; немного выше эти горячие тона переходили в дымно-красные, желтые и оранжевые оттенки, и только извили-

стые края прихотливых облаков отливали расплавленным серебром; еще выше смугло-розовое небо незаметно переходило в нежный зеленоватый, почти бирюзовый цвет. Тонкий серп молодого месяца, бледный, едва заметный, стоял посреди неба; первые звезды начинали робко поблескивать в вышине.

— Господа офицеры, по местам! Барабанщики, поход! — закричал в голове отряда раскатистый начальнический голос.

Один за другим, в разных местах длинной колонны, глухо зарокотали барабаны. Солдаты бегом заскакивали в ряды, поправляя на ходу толчком спины и плеч ранец и подпрыгивая, чтобы попасть в ногу. Офицеры, обнажая на ходу шашки, поспешно отыскивали свои места.

Наклон дороги сделался еще круче. От реки сразу повеяло сырой прохладой. Скоро старый, дырявый деревянный мост задрожал и заходил под тяжелым дробным топотом ног. Первый батальон уже перешел мост, взобрался на высокий, крутой берег и шел с музыкой в деревню. Гул разговоров стоял в оживившихся и выровнявшихся рядах.

— Федорчук, не пыли... Подымай, бисов сын, ноги.

— А что, Шаповалов, ловкая у тебя в Зимовицах была хозяйка? А? Как она яво, братцы мои, уфатом!

— Не лезь.

— Очень просто. Потому что он сичас с руками.

— Уж это беспрременно, ребята: как вечером небо красное — к завтрашнему жи ветра.

— Эй, третий взвод, кто за хлебом? Смотри, черти, опять прозеваете!

— Подержи, земляк, ружье, я шинель поправлю. А любезная эта самая вешшь — маневра! Куда лучше, чем, например, ротная школа.

— Не отставай, четвертый взвод! Дохлые!

С пригорка была видна вся деревня. Белые мазаные хатенки, тонущие в вишневых садках, раскинулись широко в огромной долине и по ее склонам. За крайние хаты высыпала пестрая толпа, большею частью баб и ребятешек, посмотреть на «москалей». Запевала одиннадцатой роты, ефрейтор Нога, самый голосистый во всем полку, не дожидаясь приказа начальника, выскочил вперед, попал в такт, оглянулся на идущих сзади, сбил шапку на затылок и, приняв небрежно хмурый вид, преувеличенно широко размахивая правой рукой, запел:

Зима люта-ая проходить,  
Весьна-красна настаеть,  
Весна-красна д'настаеть,  
У солдата сердце мреть.

Сто здоровых голосов оглушительно подхватили припев, и каждый солдат, проходя с притворно равнодушным видом перед глазами изумленной толпы, чувствовал себя героем в эту минуту. «Это все мужичье, разве они что-нибудь понимают? Им военная служба страшнее самого черта: и бьют, мол, там, и на ученье морят, и из ружья стреляют, и в походы на турков водят. А я вот ничего этого не боюсь, и мне на все наплевать, и никакого я на вас, мужиков, внимания не обращаю, потому что мне некогда, я своим солдатским делом занят, самым важным и серьезным делом в мире». Эту мысль Авиллов читал на всех лицах, начиная от запевалы и кончая последним штрафованным татаринном, и сам он, против воли, проникался сознанием какой-то суровой лихости и шел легкой, плывущей походкой, высоко подняв голову и выпрямив грудь.

Нам ученье чижало,  
Между проч-чим ничего! —

пел Нога, коверкая из молодечества слова и подкрикивая хору жесточайшим фальцетом. Никто не думал больше о натертых ногах и об ранцах, наломивших спины. Люди давно уже издали заметили четырех «своих» квартирьеров, идущих роте навстречу, чтобы сейчас же развести ее по заранее назначенным дворам. Еще несколько шагов, и взводы разошлись, точно растаяли, по разным переулкам деревни, следуя с громким хохотом и немолкающими шутками каждый за своим квартирьером.

Авилов нехотя, ленивыми шагами доплелся до ворот, на которых мелом была сделана крупная надпись: «квартира Поручика авелова». Дом, отведенный Авилону, заметно отличался от окружающих его хатенок и размерами, и белизною стен, и железной крышей. Половина двора заросла густой, выше человеческого роста кукурузой и гигантскими подсолнечниками, низко гнувшимися под тяжестью своих желтых шапок. Около окон, почти закрывая прорезки между ними, подымались длинные тонкие мальвы со своими бледно-розовыми и красными цветами.

Денщик Авилова, Никифор Чурбанов — ловкий, веселый и безобразный, точно обезьяна, солдат, — уже раздувал на крыльце снятым с ноги сапогом самовар. Увидя барина, он бросил сапог на землю и вытянулся.

— Сколько раз я тебе повторял, чтобы ты не раздувал сапогом, — сказал безглаголиво Авилон. — Покази, где здесь пройти.

Денщик отворил дверь из сеней направо. Комната была просторная и светлая; на окнах красные ситцевые гардинки; диван и стулья, обитые тем же дешевым ситцем; на чисто побеленных стенах множество фотографических карточек в деревянных ажурных рамах и два олеографических «приложения»; маленький пузатый комод с висящим над ним квадратным тусклым зеркалом и, наконец, в углу необыкновенно высокая двухспальная кровать с целой пирамидой подушек — от громадной, во всю ширину кровати, до крошечной думки. Пахло мятою, любистком и чабрецом. В Малороссии пучки этих трав всегда втыкаются «для духу» за образа.

Авилон стянул с себя об спинку кровати сапоги и лег, закинув руки за голову. Теперь ему стало еще скучнее, чем на походе. «Ну, вот и пришли, ну и что же из этого? — думал он, глядя в одну точку на потолке. — Читать нечего, говорить не с кем, занятия нет никакого. Пришел, растянулся, как усталое животное, выспался, а опять завтра иди, а там опять спать, и опять иди, и опять, и опять... Разве заболеть да отправиться в госпиталь?»

Темнело. Где-то близко за стеною торопливо тикал маятник часов. Со двора слышалось, как всей грудью и подолгу не переводя духу раздувал Никифор уголья в самоваре. Вдруг Авилону пришла в голову мысль испугаться.

— Никифор! — крикнул он громко.

Никифор поспешно вошел, хлопая дверьми и стуча надетыми уже сапогами, и остановился у порога.

— Здесь река есть? — спросил Авилон.

— Так точно!

— А что, если бы выкупаться? Как ты думаешь?

— Так точно, можно, вашбродь, — немедленно согласился денщик.

— Да ты наверно говори. Может быть, грязно?

— Так точно, страсть — грязно, вашбродь. Так что — прямо болото.

Даже кавалерия лошадей поила, так лошади пить не хотят.

— Ну и дурак! А ты вот что скажи мне...



Авилов запнулся. Он и сам не знал, что спросить. Ему просто не хотелось оставаться одному.

— Скажи мне... Хозяйка хорошенькая?

Денщик засмеялся, отер рукавом губы и с конфузливим видом отвернул голову к стене.

— Ну? — нетерпеливо поощрил Авиллов.

— Так что... Не могу знать... Они — ничего, вашбродь... хорошенькие... вроде как монашки.

— А муж старый? Молодой?

— Не очень старый, вашбродь. Так точно, молодой. Он писарем здесь, муж евонный, служит.

— Писарем? А почему же как монашка? Ты с ней разговаривал?

— Так точно, разговаривал. Я говорю, смотрите, сейчас барин мой придет, так чтобы у вас все в порядке было...

— Ну, а она?

— Она что ж? Она повернулась, да и пошла себе. Сердитая.

— А муж ее дома?

— Дома. Только теперь его нет, — ушел куда-то.

— Ну, хорошо. Давай самовар да поди скажи хозяйке, что я прошу ее на чашку чаю. Понимаешь?

Через несколько минут Никифор внес самовар и зажег свечи. Заваривая чай, он произнес:

— Ходил я сейчас... к хозяйке-то...

— Ну и что же?

— Сказал.

— Ну?

— Она говорит: оставьте меня, пожалуйста, в покое. Никакого, говорит, мне вашего чая не надо.

— И черт с ней! — решил Авиллов, зевая. — Наливай чай!

Он молча поужинал холодной говядиной и яйцами и напился чаю. Никифор так же молча ему прислуживал. Когда офицер кончил чай, денщик унес самовар и остатки ужина к себе в сарай.

Авиллов разделся и лег. Как всегда после сильной усталости — ему не спалось. Из-за стены по-прежнему слышалось однообразное тиканье часов и какой-то странный шум, похожий на то, как будто бы два человека разговаривали быстрым и сердитым шепотом. В окне, прямо перед глазами Авиллова, на темно-синем небе отчетливо рисовался недалекий пирамидальный тополь, стройный, тонкий и темный, а рядом с ним, сбоку, ярко-желтый месяц. Едва Авиллов закрывал веки, перед ним тотчас же назойливо вставала скучная картина похода: серые комковатые поля, желтая пыль, согнутые под ранцами фигуры солдат. На мгновение он забывался, и, когда опять открывал глаза, ему казалось, что он только что спал, но сколько времени — минуту или час — он не знал. Наконец ему удалось на самом деле заснуть легким, тревожным сном, но и во сне он слышал быстрое тиканье маятника за стеной и видел скучную дневную дорогу.

Часа через полтора Авиллов вдруг опять почувствовал себя лежащим с открытыми глазами и опять спрашивал себя: спал он, или это только была одна секунда полного забвения, отсутствия мысли? Месяц, уже не желтый, а серебряный, поднялся к самой верхушке тополя. Небо стало еще синее и холоднее. Порою на месяц набегало белое, легкое, как паутина, облачко, и вдруг все оно освещалось оранжевым сиянием. Быстрый, сердитый шепот, который Авиллов слышал давеча за стеною, перешел в сдержанный, но довольно громкий разговор, похожий на ссору, вот-вот готовую прорвать-

ся в озлобленных криках. Авилов прислушался. Спорили два голоса: мужской — низкий, то дребезжащий, то глухой, точно из бочки, какой бывает только у чахоточных пьяниц, и женский — очень нежный, молодой и печальный. Голос этот на мгновение вызвал в голове Авилова какое-то смутное, отдаленное воспоминание, но такое неясное, что он даже и не остановился на нем.

— Спать я тебе не даю? — спрашивал мужчина с желчной иронией. — Спать тебе хочется? А если ты меня, может быть, на целую жизнь сна решила? Это ничего? А? У, под-длая! Спать хочется? Да ты, дрянь ты этакая, ты еще дышать-то смеешь ли на белом свете? Ты...

Мужчина внезапно раскашлялся глухим, задыхающимся кашлем. Авилов долго слышал, как он плевал, хрипел и ворочался на постели. Наконец ему удалось справиться с кашлем.

— Тебе спать хочется, а я, как овца, по твоей милости кашляю... Вот погоди, ты меня и в гроб скоро вгонишь... Тогда выспишься, змея.

— Да вольно же вам, Иван Сидорыч, водку пить, — возразил печальный и нежный женский голос. — Не пили бы, и грудь бы не болела.

— Не пить? Не пить, ты говоришь? Да ты это что же? Я твои деньги, что ли, в кабаке оставляю? А? Отвечай, твои?

— Свои, Иван Сидорыч, — покорно и тихо ответила женщина.

— Ты в дом принесла хоть грош какой-нибудь, когда я тебя брал-то? А? Хоть гривенник дырявый ты принесла?

— Да вы ведь сами знали, Иван Сидорыч, я девушка была бедная, взять мне было неоткуда. Кабы у меня родители богатые...

Мужчина вдруг засмеялся злобным, презрительным долгим хохотом и опять раскашлялся.

— Бе-едная? — спросил он ядовитым шепотом, едва переводя дыхание. — Бедная? Это мне все равно, что бедная. А ты знаешь, какое у девушки богатство? Ты это знаешь?

Женщина молчала.

— Ежели она себя соблюла, вот ее богатство! Че-е-есть! Ты этого слова не слыхала? Что? Я тебя спрашиваю, ты это слово слыхала или нет? Ну?

— Слыхала, Иван Сидорыч...

— Врешь, не слыхала. Кабы ты слыхала, ты сама бы честная была. А я разве тебя честную замуж взял? Ну?

— Что же, Иван Сидорыч, я как перед Богом... Моя вина... Пятый год прошу прощения у вас.

Она заплакала тихо, тоненько и жалобно. Но ее слезы только еще более раздражили мужа. Он от них пришел в ярость.

— И десять лет проси — не прошу. Никогда я тебя, развратница, не прошу. Слышишь, никогда!.. Зачем ты мне не призналась? Зачем ты меня обманывала? Ага! Ты думала, я чужие грехи буду покрывать? Вот, мол, дурак, слава богу, нашелся, за честь сочтет чужими обедками пользоваться. Да ты знаешь ли, тварь, я на купеческой дочке мог бы жениться, если бы не ты... Я бы карьеру свою теперь сделал. Я бы...

— Да ведь не сама я, Иван Сидорыч, — отвечала, всхлипывая, женщина, — не своей охотой я пошла-то за вас. Вы сами знаете, как меня маменька била в то время.

Это оправдание довело мужчину до бешенства. Он опять страшно закашлялся, и в промежутках между приступами кашля Авилов услышал целый поток озлобленной скверной ругани. Потом вдруг в соседней комнате раздался резкий и сухой звук пощечины, за ним другой, третий, четвертый, и в ночной тишине посыпались беспощадные, рассчитанные, ожес-

точенные удары. А затем как-то все сразу смолкло. Стало так тихо, что можно было расслышать писк червяка, точившего дерево. Авилов лежал, широко раскрыв глаза; сердце его учащенно билось от какого-то жуткого, грустного и жалостливого чувства. Потом он услышал тихий голос женщины, заглушаемый сдержанным плачем.

— Боже мой, Господи, — причитала она, рыдая, скрежеща зубами и захлебываясь от слез, — отчего ты мне не пошлешь смерти мучительной? Ведь пять лет... пять лет каждая ночь не обойдется без попреков. Хотя убил бы меня сразу, изверг! За что ты меня терзаешь? За что? Разве я не слуга тебе? Разве я не твоя раба? Ну, хоть бы одну ноченьку ты из меня души моей не выматывал. Одну только ночь! Что же ты думаешь, я *того*, проклятого, любила? Пусть его Господь покарает за меня позорной смертью. Если бы я встретила его, задушила бы, вот так, пальцами бы своими задушила!.. Жизнь он мою загубил, негодяй! Двадцать пять лет мне, я уж старухой стала... Моченьки моей нет!

Долго Авилов слушал эти страстные, отчаянные жалобы, все стараясь припомнить, где он раньше слышал похожий голос, и вдруг неожиданно, сразу, заснул крепким здоровым сном, без всяких видений.

Под утро он опять проснулся. Месяца уже не было видно. Небо из темно-синего сделалось светло-серым. Авилов с удивлением опять услышал за стенкою те же голоса.

— Милая моя, дорогая, — говорил мужчина растроганным, ослабевшим голосом, — если бы не это, как бы я тебя любил-то! То есть ветру на тебя дохнуть не позволил бы. Барыней бы у меня была, вот что.

— Ах, Иван Сидорыч, ну, простите вы меня наконец. Ну, будем как люди, как все... На что уж я вам послушна, а тогда вот, кажется, мысли бы ваши угадывала...

Наступило молчание, и Авилов услышал за стеною звуки продолжительных поцелуев.

— Ну хорошо, ну хорошо, — заговорил ласково и успокоительно мужчина. — Ну будет, будет... Ты думаешь, мне самому сладко? У меня сердце кровью обливается, а не то что... Голубка моя.

И опять до ушей Авилова донесся долгий поцелуй.

— Да, вот вы говорите — хорошо, — прошептала женщина, слегка задыхаясь, — а завтра опять... Уж сколько раз вы обещались не попрекать больше, а сами... Перед образами божились сколько раз...

— Ну будет, ну перестань... Ты мне только скажи, ты *того-то*, тогдашнего, не любишь ведь? Правда?

— Ах, Иван Сидорыч, ну что вы спрашиваете? Да я зарезала бы его своими руками, если бы только встретила где!..

Разговор за стеной затих, понизился до шепота, все чаще слышались поцелуи и подавленный, счастливый смех Ивана Сидоровича.

Сон опять начал сковывать Авилова, но он боролся с ним и все стараясь припомнить, где он слышал такой же голос? Порою он уже вот-вот готов был вспомнить, но мысли его рассеивались и путались, как всегда у засыпающего человека... Наконец, совершенно засыпая, он вспомнил.

Это было лет шесть тому назад. Он — только что произведенный тогда офицеры — приехал на лето к своему дяде в имение, в Тульскую губернию. Скука была в деревне страшная, и Авилов постоянно и усиленно искал хоть какого-нибудь развлечения. Охота, рыбная ловля давно надоели, ездить верхом было слишком жарко.

Вероятно, от скуки он однажды обратил внимание на дядину горничную Харитину, высокую, сильную девушку, тихую и серьезную, с большими си-

ними, постоянно немного грустными глазами. Как-то вечером, встретившись с Харитиной в сенях, Авиллов обнял ее. Девушка молча отбросила его руки от своей груди и так же молча ушла. Офицер смутился и, озираясь, на цыпочках, с красным лицом и бьющимся сердцем прошел в свою комнату.

Недели две спустя, в жаркий, истомный июньский полдень, Авиллов лежал на краю громадного густого сада, на сене, и читал. Вдруг он услышал совсем близко за своею спиной легкие шаги. Он обернулся и увидел Харитину, которая, по-видимому, его не замечала.

— Ты куда собралась, Харитина? — окликнул ее Авиллов.

Она сначала испугалась, потом сконфузилась.

— Я тут... вот... купалась сейчас...

Авиллов подошел к ней, тревожно оглянувшись по сторонам и обнял ее. Она молча, опустил глаза и покраснев, уперлась руками в его грудь и делала усилия оттолкнуть его. Офицер все крепче притягивал девушку к себе, тяжело дыша и торопливо целуя ее волосы и щеки.

Харитина сопротивлялась долго, с молчаливым упорством и озлоблением. Она была очень сильна. Авиллов начал изнемогать и хотел уже выпустить девушку, как вдруг она страшно побледнела, руки ее бессильно упали вниз, глаза закрылись.

Очнувшись, она принялась истерично плакать. Все утешения и обещания Авиллова были напрасны. Он так и ушел из сада, оставив Харитину бившейся в рыданиях на траве.

Она об этом случае никому не сказала ни слова и только старательно избегала встреч с Авилловым.

Да, впрочем, и сам Авиллов через четыре дня уехал из деревни, по телеграмме матери, неожиданно заболевшей.

С тех пор он не видал Харитины, и только сейчас голос женщины за стеной слегка ему ее напомнил, слегка — потому, что Авиллов не успел еще разобрататься в своих воспоминаниях, как уже опять заснул крепким утренним сном.

— Вашбродь, вставайте! Вставайте, вашбродь. Уж ротный командир пошодши к роте! — будил Никифор разоспавшегося Авиллова, тряся его, с должным, однако, почтением, за плечо.

— Мм... а самовар? — промычал Авиллов, с трудом раскрывая глаза.

— Никак нет! Вещи все отправлены: фельдфебель приказали. Я уж вас, почитай, целый час будил: изволили ругаться и сказали, что чаю не будете пить.

Авиллов сделал наконец над собою усилие, быстро вскочил с постели и стал поспешно одеваться. Он боялся опоздать. Поспешно плеснув несколько раз на лицо водою, едва застегнув сюртук, он побежал к сборному месту, на ходу надевая шарф с кобуром и шашку.

Батальоны уже стояли правильными черными четырехугольниками вдоль широкой улицы, рядом, один около другого. Авиллов поспешно вступил в свое место, стараясь не встречаться глазами с укоризненным взглядом командира.

Небо было ясное, чистое, нежно-голубого цвета. Легкие белые облака, освещенные с одной стороны розовым блеском, лениво плыли в прозрачной вышине. Восток алел и пламенел, отливая в иных местах перламутром и серебром. Из-за горизонта, точно гигантские растопыренные пальцы, тянулись вверх по небу золотые полосы от лучей еще не взшедшего солнца.

Через десять минут из-за правого фланга выехал на своем громадном сером мерине полковой командир. Его голос оживленно и явственно раздался в утреннем воздухе.

— Здорово, первый ба-таль-он!

— Здра-жла-ва-со!.. — весело и бодро крикнули четыреста молодых голосов.

Он объехал таким образом все батальоны, затем выехал перед середину полка, шагов на пятьдесят, откинулся телом назад и, закинув вверх голову, молодцеватым, радостным голосом скомандовал:

— Под знамена! Ша-а-ай! На кра-у-ул!

Батальоны брякнули ружьями и замерли. Прозрачно и резко разносясь в воздухе, раздались звуки встречного марша. Знамя, обернутое сверху кожаным футляром, показалось над рядами, мерно колыхаясь под звуки музыки. Того, кто его нес, не было видно. Потом оно остановилось, и музыка замолкла.

Полк вытянулся в длинную, узкую колонну и двинулся. Солдаты шли бодро, радуясь свежему, веселому утру, отдохнувшие и сытые. Всем хотелось петь, и когда Нога своим звонким, сильным голосом затянул:

Ой да из-под горки, ой из-под крутой  
Ехал майор молодой, —

солдаты подхватили припев особенно дружно и согласно.

Извиваясь длинной лентой, полк одну за другой проходил улицы большого села. Авилов издали узнал дом, в котором он провел ночь. У калитки его стояла какая-то женщина с коромыслом на плече, в темном платье, с белым платком на голове. «Это, должно быть, моя хозяйка, — подумал Авилов, — интересно на нее взглянуть».

Когда он сравнялся с нею, женщина быстро, точно от внезапного толчка, обернулась назад и встретилась глазами с Авиловым. Он сразу узнал ее. Это была несомненно Харитина: те же глубокие, кроткие глаза, то же серьезное и печальное лицо...

И она его тотчас же узнала. В глазах ее попеременно отразились и изумление, и гнев, и страх, и презрение... она побледнела, и ее ведра упали вместе с коромыслом на землю, дребезжа и катясь.

Авилов обернулся. Тяжелая, острая скорбь внезапно охватила его, точно кто-то сжал грубой рукой его сердце. И почему-то в то же время он показался себе таким маленьким-маленьким, таким подленьким трусишкой. И, чувствуя на своей спине взгляд Харитины, он весь съезжился и приподнял вверх плечи, точно ожидая удара.

А рядом с ним — справа, слева, впереди, сзади — здоровые голоса орали с гиканьем, визгом и пронзительным свистом:

Здравствуй, Саша, здравствуй, Маша,  
Здравствуй, милая моя...

- Искушение 775  
Исполины 685
- К славе 57  
Как я был актером 605  
Канталупы 929  
Капитан 852  
Каприз 243  
Картина 117  
Кляча 221  
Козлиная жизнь 951  
Конокрады 421  
Королевский парк 786  
Корь 501  
Кража 1156  
Красное крыльцо 1016  
Кровать 215  
Куст сирени 44
- Лавры 736  
Легенда 638  
Леночка 768  
Лесная глушь 283  
Лимонная корка 986  
Локон 170  
Лолли 157  
Лунной ночью 19  
Люция 904
- Марабу 746  
Марианна 231  
Марья Ивановна 881  
Медведи 829  
Мелюзга 641  
Механическое правосудие 679  
Миллионер 152  
Мирное житие 492  
Мой паспорт 729  
Морская болезнь 706  
Московская Пасха 1047  
Мученик моды 759  
Мысли Сапсана о людях,  
животных, предметах  
и событиях 948  
Мясо 137
- «N. — J.» Интимный дар  
императора 1169  
На покое 391  
На разезде 79
- На реке 205  
Нарцисс 252  
Наталья Давыдовна 197  
Наташа 1187  
Начальница тяги 798  
Негласная ревизия 47  
Ночлег 85  
Ночная фиалка 1224  
Ночь в лесу 1172
- О пуделе 740  
О том, как профессор Леопарди  
ставил мне голос 39  
Обида 628  
Оборотень 836  
Обыск 1143  
Одиночество 299  
Однорукий комендант 997  
Ольга Сур 1103  
Осенние цветы 368
- Палач 312  
Папаша 912  
Пасхальные колокола 1087  
Пасхальные яйца 790  
Первенец 249  
Первый встречный 271  
Песик Черный Носик 995  
Печальный рассказ 801  
Пиратка 162  
По заказу 373  
Погибшая сила 317  
Полубог 187  
Попрыгунья-стрекоза 783  
По-семейному 762  
Последнее слово 732  
Последние рыцари 1237  
Последний дебют 5  
Последний из буржуев 983  
Поход 351  
Просительница 114  
Психея 9  
Пуделиный язык 1056  
Пунцовая кровь 1026  
Пустые дачи 518  
Путаница 235  
Путешественники 804
- Ральф 1245  
Рассказ о рыбке «раскасс» 1162  
Рассказ пегого человека 1258

- Рассказы в каплях 1088  
Резеда 1194  
Река жизни 576  
Родина 1015  
Розовая жемчужина 1040
- С улицы 472  
Сад Пречистой Девы 883  
Самоубийство 811  
Сашка и Яшка 956  
Свадьба 688  
Светлый конец 848  
Светоч царства 1135  
Святая ложь 869  
Святая любовь 93  
Сентиментальный роман 357  
Серебряный волк 362  
Сила слова 991  
Сильнее смерти 234  
Синяя звезда 1018  
Система 1177  
Сказка 218  
Сказка 990  
Сказка о затоптанном цветке 766  
Сказочки 678  
Скворцы 925  
Скрипка Паганини 1095  
Славянская душа 34  
Слон 662  
Слоновья прогулка 831  
Сны 571  
Сны 879  
Собачье счастье 200  
Соловей 1117  
Столетник 111  
Станный случай 174  
Страшная минута 127  
Судьба 1008
- Счастливая карта 305  
Счастье 623
- Тапер 326  
Телеграфист 792  
Тень Наполеона 1075  
Типографская краска 1116  
Тост 573  
Травка 808  
Трус 409
- У Троице-Сергия 1131  
Убийца 624  
Угар 515  
Удод 1206  
Ужас 184  
Ученик 721
- Фердинанд 1126  
Фиалки 885
- Хорошее общество 553  
Храбрые беглецы 935
- Царев гость из Наровчата 1231  
Царский писарь 967
- Чары 241  
Черная молния 813  
Черный туман 545  
Четверо нищих 1109  
Чудесный доктор 277  
Чужой петух 802  
Чужой хлеб 224
- Штабс-капитан Рыбников 522
- Ю-ю 1049

*Светлана Голова*

## В МИРЕ РАССКАЗОВ А. И. КУПРИНА

Хотя между первым, опубликованным в «Русском сатирическом листке» рассказом «Последний дебют» (1889), — рассказом еще подражательным, и публикациями в журнале «Русское богатство», где был напечатан рассказ «Лунной ночью» (1893), прошло лишь несколько лет, но благодаря им Александр Иванович Куприн (1870—1938) осознал себя писателем и даже получил первое признание от Н. Михайловского и В. Короленко. В результате он решил подать в отставку и в 1894 г. покинул 46-й Днепровский пехотный полк. Живя преимущественно в Киеве, но и много путешествуя (посещая различные города, например, Ялту, Одессу, Москву, а также живя в Полесье, где недолго служил управляющим имением), постоянно нуждаясь, сменяя одну профессию за другой и испробовав, наконец, ремесло репортера, А.И. Куприн возводит его в свой творческий принцип: «Ты — репортер жизни... суйся решительно всюду... влезь в самую гущу жизни...»

Рассказом «Дознание» (1894) (авторское название «Экзекуция» изменено по цензурным соображениям) — лучшим из ранних произведений А.И. Куприна — начинается его военный цикл. В рассказе впервые появляется любимый купринский герой — молодой интеллигентный человек, мягкий, сострадательно-безвольный, но подавленный средой и обстоятельствами. В душе подпоручика Козловского чувство ответственности как за своего подчиненного, так и за все происходящее в целом, сменяется сперва чувством вины, «как будто бы в жалкой пришибленности и беспомощности Байгузина был виноват не кто иной, как сам подпоручик Козловский», а затем состраданием, даже эмпатией: «У Козловского мелькнула мысль, что татарину, должно быть, очень холодно, и от этой мысли офицер задрожал еще сильнее». Герой кажется слабым, потому что духовно он удивительно силен и может поставить себя как в центр мироздания и почувствовать ответст-



венность за все происходящее в нем, так и на место каждого страдающего человека. В поединке с миром сильных не бывает. Герой слаб слабостью Гамлета, чувствующего, что его миссия — исправить мир. Впрочем, в произведениях А.И. Куприна есть творческая сила, способная преобразить мир, это любовь. И дается она сильным женским характерам. Так, в рассказе «Куст сирени» (1894), описывающем быт военных в мирное время, Вера Алмазова спасает своего мужа от служебной катастрофы тем, что предлагает в какой-то мере подправить мир — чтобы он более соответствовал тому, что изобразил на карте ее муж, — то есть посадить уже «выросшие» на месте кляксы кусты, посадить реально, в землю, и тем самым довести мир до картографического совершенства. Любящий человек не вступает в поединок с миром, он чувствует глубинное интуитивное родство с ним и поэтому говорит на его языке. А поступок — лишь одна из форм общения с миром, форма, доступная лишь любящим.

Женщины в произведениях А.И. Куприна часто сильны благодаря таинственному диалогу, который они ведут с миром природы, и это придает сил их любви; мужчины слабы — слабостью цивилизации, которая делает их либо неспособными глубоко чувствовать, либо бессильными перед роковой страстью.

Рассказы военного цикла стали этюдами к повести «Поединок».

Для рассказов А.И. Куприна конца 90-х гг. характерно противопоставление молоха цивилизации, требующей все новых человеческих жертв, и «живой жизни». Влияние Л.Н.Толстого здесь сочетается с внутренним императивом самого А.И.Куприна, благоговевшего перед мистической связью человека с природой и воспевшего эту связь в рассказе «Лесная глушь» (1898).

Стремление цивилизованного человека обрести свободу внутреннюю через внешнее соприкосновение с естественной свободой диких народов характерно не только для героя «Казачков» Л.Н. Толстого. Эту художественную идею А.И. Куприн унаследовал от романтиков, в частности от А.С. Пушкина, манифестировавшего ее в «Цыганах», «южные поэмы» которого, как известно, являются интерпретацией байроновских «восточных поэм». В творчестве В.В. Вересаева («Записки врача», завершённые в 1900 г.) и М.А. Булгакова («Записки юного врача», 1925—1927) эта тема обретает черты единоборства цивилизованной личности с первобытной дикостью народа. На смену мифологизации народа приходит мифологизация цивилизованной личности, постепенно обретающей черты культурного героя, или Прометея.

К аристократам духа А.И.Куприн в первую очередь относил творчески одаренных людей, противопоставляя их не народной массе, а внесоциальной безличности. Герой его рассказа «Тапер» оказывается в ситуации прямо противоположной той, в которую попал покинутый

почти всеми слушателями гофмановский виртуоз Крейслер. Преодолевая романтическую идею иномирности музыки, которую могут понять лишь избранные, А.И. Куприн повествует о чудесном преображении стихии душ человеческих под влиянием гениальной музыки. В рассказе «Гамбринус» (1907), героем которого стал старый одинокий еврей-музыкант Сашка, безличное начало, враждебное личности гениального исполнителя, вторгается в рассказ войной и японским пленом, революцией, еврейскими погромами и, наконец, мстью сыщиков. Рыбаки, за всегдатаи пивной под названием «Гамбринус», знающие «прелесть ежедневного риска», знающие, какова «бешеная жажда жизни», сродни той же стихии. Но «Сашка действовал на них, как Орфей, усмирявший волны». Ведь сила музыки стихийна. А личность — это лишь недолговечный компромисс между стихией человеческой души и стихией музыки. Судьба служителя муз у А.И. Куприна, безусловно, трагична: ему предстоит либо погибнуть под натиском стихии безличного, либо раствориться в стихии музыки. И об изувеченном Сашке А.И. Куприн говорит: «Человека можно искалечить, но искусство все перетерпит и все победит». Даже личность гения обретает бытие и ценность лишь в той мере, в какой она причастна стихии вечного искусства.

Искусство и любовь стали в творчестве А.И. Куприна теми великими силами, которые наделяют человека красотой личного бытия: «От любви к женщине родилось все прекрасное на земле», ибо самое умное, чего достиг человек, — «это уметь любить женщину, поклоняться ее красоте», — говорится в созданном весной 1910 года автобиографическом рассказе «Леночка».

Революцию А.И. Куприн застал в Гатчине, где жил с ноября 1911 г., а затем, полностью подчинившись обстоятельствам, отступал с войсками Юденича и оказался за границей.

В 1920 г. А.И.Куприн поселился в Париже. Связанный с эмиграцией творческий кризис выразился, например, в одном из писем 1924 г.: «Боль и тоска по родине не проходят, не притерпливаются, а все гуще и глубже». И все-таки А.И. Куприн продолжает писать и развивать темы, вошедшие в его творчество еще в России. Для своего третьего заграничного сборника «Рассказы для детей» (Париж, 1921) Куприн отобрал свои дореволюционные детские произведения: «Бонза», «Фиалки», «Скворцы», «Слон», «Бедный принц», «Белый пудель», «В недрах земли», «На реке».

В цикл мемуарных рассказов об артистах русского цирка вошли произведения эмигрантского периода «Домик», «Ольга Сур», «Дочь великого Барнума», «Соловей», «Блондель». В дореволюционном цирковом рассказе «Allez!» (1897) и в «Ольге Сур» (1929) показано, как привычное восклицание «Allez!» мобилизует личность для достижения максимального результата — для преодоления себя, то есть своих стра-

хов, а в полете Никаноро Нанни, бывшего наездника Пьера — этого вечно влюбленного Пьеро, — для преодоления ради любви даже всемирного закона тяготения: «Но во время этого полета, в какой-то необходимый, но неуловимый момент, он бросает обе гири, и тут-то, преодолев закон тяжести, ставши внезапно легче на пятьдесят фунтов, он неожиданно взвивается кверху и потом уж кончает полет, упав на тамбур». Восклицание «Allez!» помогает герою достичь максимальной духовной сосредоточенности, показать, на что — на какие подвиги и безумства — он способен ради любви. Привычка к риску, пиковые состояния, предельная духовная и физическая сосредоточенность, порожденная любовью, и жажда самовыражения вырывают личность циркового актера из стихии бессознательного и из-под власти мира. Риск, как и стихия искусства, обладает в художественном мире А.И. Куприна удивительной способностью помогать духовному созреванию личности, делает ее ярче и масштабнее.

Темы детства, цирка, животной и растительной жизни вдохновляли А.И. Куприна всю жизнь. Особенно интересен в этой связи рассказ «Мысли Сапсана о людях, животных, предметах и событиях», написанный в 1916 г. и переработанный в 1921 г. В художественном отношении рассказ восходит к письмам собаки Меджи к «милой Фидель» из гоголевских «Записок сумасшедшего». В рассказе Куприна старый пес Сапсан часто высказывает действительно верные мысли о людях и событиях. Кроме того, пес любит детей за их чистоту и ясность, особенно маленькую дочку хозяина, и с презрением относится к хозяйке дома и ее любовнику, ненавидя их за лживость и распутство. Сквозь резонные замечания старого пса сквозит обаяние личности самого писателя.

Соединившись, темы детства, цирка и мира природы создают удивительную художественную ткань рассказа «Белый пудель» (1903), в котором люди и животные говорят на разных, но равно доступных пониманию автора языках: «Арто неистово лаял и скакал по берегу. Его беспокоило, что мальчик заплыл так далеко. «К чему показывать свою храбрость? — волновался пудель. — Есть земля — и ходи по земле. Гораздо спокойнее».

Кажется, А.И. Куприн сорвал в детстве цветущий папоротник, и все стихии заговорили с ним и любимыми героями на родном им языке, и сами получили дар быть понятыми миром животных: «Молодой крупный азиатский лев рыкнул на Блонделя не злобно, но чересчур громко, так что в конюшнях тревожно забились и затопали лошади. Блондель отеческим жестом обвил вокруг звериной морды свою волшебную зеленую ветвь и сказал воркующим, приветливым голосом: «О мейн кинд. Bravo, шон, bravo, шон». И лев, умолкнув, тяжело пошел следом за ногами Блонделя, как приказчик за строгим хозяином» («Блондель», 1933). Личность в творчестве А.И. Куприна проявляется

через власть над миром стихийной природы — над миром животных. Этой властью обладал ветхозаветный Адам в райском саду. А.И. Куприн неустанно ищет отсветов вечных сюжетов и мифов в столь недолговечном цветении человеческой личности на земле.

Незадолго до смерти, в мае 1937 г., старому и больному А.И. Куприну удалось исполнить свою мечту — вернуться на Родину.

## СОДЕРЖАНИЕ

Последний дебют . . . . .	5
Психея . . . . .	9
Лунной ночью. . . . .	19
Дознание . . . . .	25
Славянская душа . . . . .	34
О том, как профессор Леопарди ставил мне голос . . . . .	39
Аль-Исса . . . . .	42
Куст сирени. . . . .	44
Негласная ревизия . . . . .	47
К славе . . . . .	57
Забывтый поцелуй . . . . .	76
Безумие . . . . .	78
На разъезде . . . . .	79
Ночлег. . . . .	85
Святая любовь . . . . .	93
Воробей . . . . .	99
В зверинце . . . . .	102
Игрушка . . . . .	107
Столетник . . . . .	111
Просительница . . . . .	114
Картина . . . . .	117
Страшная минута . . . . .	127
Мясо . . . . .	137
Без заглавия . . . . .	146
Миллионер. . . . .	152
Лолли . . . . .	157
Пиратка . . . . .	162
Жизнь . . . . .	167
Локон . . . . .	170
Странный случай . . . . .	174
Бонза. . . . .	179
Ужас . . . . .	184

Полубог . . . . .	187
Наталья Давыдовна . . . . .	197
Собачье счастье . . . . .	200
На реке. . . . .	205
Блаженный. . . . .	210
Кровать . . . . .	215
Сказка . . . . .	218
Кляча. . . . .	221
Чужой хлеб. . . . .	224
Друзья . . . . .	227
Марианна . . . . .	231
Сильнее смерти . . . . .	234
Путаница. . . . .	235
Чары . . . . .	241
Каприз . . . . .	243
Первенец. . . . .	249
Нарцисс . . . . .	252
Барбос и Жулька. . . . .	257
Детский сад . . . . .	260
Allez! . . . . .	263
Брегет . . . . .	266
Первый встречный. . . . .	271
Чудесный доктор. . . . .	277
Лесная глушь. . . . .	283
Одиночество . . . . .	299
Счастливая карта . . . . .	305
Дух века . . . . .	309
Палач . . . . .	312
Погибшая сила. . . . .	317
Тапер. . . . .	326
В цирке . . . . .	334
Поход . . . . .	351
Сентиментальный роман . . . . .	357
Серебряный волк . . . . .	362
Осенние цветы. . . . .	368
По заказу. . . . .	373
Болото . . . . .	380
На покое . . . . .	391
Трус . . . . .	409
Конокрады. . . . .	421
Белый пудель . . . . .	437
Жидовка . . . . .	457
Вечерний гость. . . . .	468
С улицы . . . . .	472

Мирное житие . . . . .	492
Корь . . . . .	501
Угар . . . . .	515
Брильянты . . . . .	516
Пустые дачи . . . . .	518
Белые ночи. . . . .	520
Штабс-капитан Рыбников. . . . .	522
Черный туман . . . . .	545
Хорошее общество. . . . .	553
Жрец . . . . .	563
Сны . . . . .	571
Тост . . . . .	573
Река жизни. . . . .	576
Гамбринус . . . . .	589
Как я был актером. . . . .	605
Счастье. . . . .	623
Убийца . . . . .	624
Обида . . . . .	628
Легенда. . . . .	638
Искусство . . . . .	639
Демир-Кая . . . . .	640
Мелюзга . . . . .	641
Бред . . . . .	657
Слон . . . . .	662
Изумруд . . . . .	668
Сказочки . . . . .	678
Механическое правосудие . . . . .	679
Исполины . . . . .	685
Свадьба . . . . .	688
В недрах земли. . . . .	698
Морская болезнь. . . . .	706
Ученик . . . . .	721
Мой паспорт. . . . .	729
Последнее слово . . . . .	732
Лавры . . . . .	736
О пуделе . . . . .	740
В Крыму . . . . .	741
Марабу . . . . .	746
Бедный принц . . . . .	750
В трамвае. . . . .	755
Мученик моды . . . . .	759
По-семейному . . . . .	762
Сказка о затоптанном цветке . . . . .	766
Леночка . . . . .	768

Искушение . . . . .	775
В клетке зверя . . . . .	780
Попрыгунья-стрекоза . . . . .	783
Королевский парк . . . . .	786
Пасхальные яйца . . . . .	790
Телеграфист . . . . .	792
Большой Фонтан . . . . .	795
Начальница тяги . . . . .	798
Печальный рассказ . . . . .	801
Чужой петух . . . . .	802
Путешественники . . . . .	804
Травка . . . . .	808
Самоубийство . . . . .	811
Черная молния . . . . .	813
Медведи . . . . .	829
Слоновья прогулка . . . . .	831
Зачарованный глухарь . . . . .	834
Оборотень . . . . .	836
Анафема . . . . .	841
Еж . . . . .	846
Светлый конец . . . . .	848
Капитан . . . . .	852
Винная бочка . . . . .	858
В медвежьем углу . . . . .	865
Святая ложь . . . . .	869
Брикки . . . . .	877
Сны . . . . .	879
Марья Ивановна . . . . .	881
Сад Пречистой Девы . . . . .	883
Фиалки . . . . .	885
Запечатанные младенцы . . . . .	889
Гад . . . . .	894
Гоголь-моголь . . . . .	901
Люция . . . . .	904
Гога Веселов . . . . .	905
Папаша . . . . .	912
Интервью . . . . .	915
Груня . . . . .	918
Скворцы . . . . .	925
Канталупы . . . . .	929
Храбрые беглецы . . . . .	935
Мысли Сапсана о людях, животных, предметах и событиях . . . . .	948
Козлиная жизнь . . . . .	951
Сашка и Яшка . . . . .	956



Гусеница . . . . .	962
Царский писарь . . . . .	967
Волшебный ковер . . . . .	976
Последний из буржуев. . . . .	983
Лимонная корка . . . . .	986
Сказка . . . . .	990
Сила слова . . . . .	991
Песик Черный Носик . . . . .	995
Однорукий комендант . . . . .	997
Судьба . . . . .	1008
Золотой петух. . . . .	1012
Родина . . . . .	1015
Красное крыльцо . . . . .	1016
Синяя звезда . . . . .	1018
Пунцовая кровь. . . . .	1026
Розовая жемчужина. . . . .	1040
Встреча . . . . .	1043
Московская Пасха . . . . .	1047
Ю-ю. . . . .	1049
Пуделиный язык . . . . .	1056
Звериный урок . . . . .	1061
Дочь великого Барнума. . . . .	1062
Инна . . . . .	1072
Тень Наполеона . . . . .	1075
Завирайка. . . . .	1080
Пасхальные колокола. . . . .	1087
Рассказы в каплях . . . . .	1088
Скрипка Паганини . . . . .	1095
Бальт . . . . .	1098
Геро, Леандр и пастух . . . . .	1100
Ольга Сур. . . . .	1103
Четверо нищих . . . . .	1109
Домик. . . . .	1112
Дурной каламбур . . . . .	1114
Типографская краска . . . . .	1116
Соловей. . . . .	1117
Гибель племени Чичиме . . . . .	1121
Голос оттуда . . . . .	1123
Фердинанд . . . . .	1126
У Троице-Сергия . . . . .	1131
Светоч царства . . . . .	1135
Обыск. . . . .	1143
Допрос . . . . .	1150
Кража . . . . .	1156

---

Рассказ о рыбке «раскас» . . . . .	1162
«N. — J.» Интимный дар императора . . . . .	1169
Ночь в лесу . . . . .	1172
Система . . . . .	1177
Наташа . . . . .	1187
Резеда . . . . .	1194
Гемма . . . . .	1199
Удод . . . . .	1206
Бредень . . . . .	1211
Вальдшнепы . . . . .	1218
Блондель . . . . .	1221
Ночная фиалка . . . . .	1224
Царев гость из Наровчата . . . . .	1231
Последние рыцари . . . . .	1237
Ральф . . . . .	1245
Вероника . . . . .	1247
Две знаменитости. . . . .	1254
Рассказ пегого человека . . . . .	1258
Алфавитный указатель . . . . .	1264
<i>Светлана Голова. В мире рассказов А.И. Куприна . . . . .</i>	<i>1267</i>